

ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

Вл. ВОЙТИНСКИЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО З.И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН • ПЕТЕРБУРГ
1923



1905-ый год

I. В УНИВЕРСИТЕТЕ

Студенчество в конце 1904 года. — 9-ое января. — Университетская сходка. — Лето 1906-го года. — Вступление в Р. С.-Д. Р. Партию. — В подрайонном комитете. — Открытие Университета. — Начало университетских митингов. — Толпа и речи. — Коллегия митинговых ораторов. — Американские гости. — Конфликт с профессорами и Совет Студентов. — Митинговая кампания и октябрьские дни в Петербурге. — Накануне всеобщей забастовки. — Тревожные дни. — Последний университетский митинг.

Осенью 1904 года, когда я 19-летним юношей поступил в С. Петербургский Университет, в студенческом движении наблюдалось ватинье.

В это время студенчество уже не представляло собой сплоченной, однородной радикально настроенной массы, как в начале 900-ых годов. Уже в конце 1903 года всероссийский студенческий съезд констатировал, что «повсеместным и наиболее характерным признаком настоящего исторического момента, переживаемого студенчеством, является более или менее резкая дифференциация в среде студенчества».

В последовавшее за съездом полугодие наметились дальнейшие признаки этого процесса.

Взрыв шовинизма, ознаменовавший начало русско-японской войны, увлек и студенческую массу. Радикализм ее поблек, на смену противоположительным настроениям пришло увлечение национальной идеей, воплощаемой в «венценосном вожде» России.

В Петербургском Университете руководящая роль перешла от революционных студенческих организаций к ярко монархической корпорации «Денница». 28 января 1904 г., после обнародования манифеста о войне, в Актовом Зале собралась сходка адреса царю. Большинство 500 голосов против 300 был принят текст, предложенный «Денницей». Раздались звуки «Боже, Царя храни». Меньшинство принялось шикать. «Патриоты» пустили в ход кулаки. «Радикалы» были смяты и выброшены из зала. После шествия с трехцветными флагами по университетскому корридору, студенческая толпа двинулась к Зимнему Дворцу. И когда из дворца вышел манифестантам петербургский градоначальник Клейгельс, в честь его кричали «ура», бросали в воздух фуражки, снова пели «Боже, Царя храни»...

Еще ярче проявился подъем «патриотизма» в военно-медицинской академии: медики не только носили по улицам трехцветные флаги и царские портреты, но опускались на колени при проезде царских саней.

Лишь в Горном Институте и на Высших Женских Курсах противоправительственные настроения сказались сильнее шовинистического угара: горняки, сразу после появления манифеста, вынесли резкую резолюцию против войны; а сходка бестужевки постановила не допускать на курсах молебна «о даровании победы».

Вскоре воинственные настроения среди студенчества рассеялись, — как рассеялись они и в других кругах русского общества. О манифестациях первых дней войны вспоминали с чувством стыда и неловкости. Но от этого кратковременного при-

ступа благонамеренного «патриотизма» остался след в виде полной дезорганизации радикальных элементов во всех высших учебных заведениях России.

Этим объясняется провал противоправительственных выступлений студенчества в 1904 г. (в Одессе, Петербурге, Москве).

Осенью 1904 г. среди студенчества можно было отметить левых, правых и беспартийных. Последних было всего больше, они собственно и составляли «студенческую массу». Но к левым беспартийные были значительно ближе, чем к правым. «Денница» была изолирована, не пользовалась влиянием и играла роль полуполицейской организации, — так смотрели на нее не только студенты, но и лучшая часть профессуры.

Впрочем, радикализм беспартийного студенчества был вялый, пассивный, теоретический. Чувствовалось, что дальше слов он не пойдет.

В центре политических интересов стоял вопрос о войне.

Напомню, что к этому времени исход войны достаточно определился: была уже уничтожена русская дальневосточная эскадра, была разбита под Ляояном русская армия; правда, еще держался Порт-Артур и на помощь Куропаткину, остановившему войска на мукденских позициях, тянулись новые полки, но Россия была уже побеждена, ибо в народе была убита вера в возможность одолеть врага, и никакие колебания боевого счастья не могли изменить этого факта.

Отношение большинства студентов к войне было вполне определенное. Ругали военное командование, издевались над сообщениями штаба о продвигах русских армий. Торжествовали при известиях об успехах Японии. Охотно толковали о нашей неподготовленности к войне, о неизбежности нашего поражения. Ждали, что поражение приведет к внутреннему обновлению русской жизни.

Нередко речь заходила о причинах войны. Из уст в уста передавались подробности о Безобразовских концессиях на Ялу. Рядом с этим шли рассуждения о том, что Япония совершенно права, стремясь утвердиться на материке, что на островах ей, действительно, тесно.

Большим успехом пользовались карикатуры, изображавшие Николая II и Микадо. В среде политически незрелой молодежи Микадо внушал к себе уважение, — особенно рядом с русским царем.

Много говорили тогда о поздравительной телеграмме, якобы отправленной японскому императору студентами, — не то нашего Университета, не то какого то института. Конечно, это была провокаторская выдумка: ни один телеграф не принял бы подобного послания. Но психологически такое выступление не было бы невозможно и, пожалуй, не вызвало бы ни осуждения, ни удивления в студенческой среде.

Употребляя термин, который получил широкое распространение в последнюю, всемирную войну, я скавал бы, что осенью 1904 г. среди беспартийного студенчества преобладали пораженческие настроения, что пораженчество было в это время наи-

более обычной формой студенческого радикализма, оппозиционности.

Существовали в Университете тайные революционно-партийные организации (социал-демократическая, социал-революционная и др.), объединенные «Коалиционным Советом». Кажется, у них были связи с подобными группами в других высших учебных заведениях и с партийными центрами. Как протекала внутренняя жизнь этих организаций, я не знаю, но их внешняя деятельность ограничивалась исключительно денежными сборами и распространением нелегальной литературы. У меня осталось вполне отчетливое впечатление, что в то время они большого значения не имели, и интереса к ним студенческая масса не проявляла.

Напротив, к революционной литературе беспартийное студенчество относилось с большим интересом. В Университете открыто продавались заграничные журналы («Искра», «Революционная Россия» и «Освобождение»), нелегальные брошюры, портреты революционных деятелей и теоретиков социализма, открытки с карикатурами на Николая II.

Каждая политическая партия имела свой столлик для продажи литературы. У эсдеков преобладали брошюры, у эсеров открытки и портреты.

Но в различиях между партиями стоявшая в стороне от кружков студенческая масса разбиралась слабо. «Освобождение» Петра Струве читалось точно так же, как социал-демократическая «Искра», — теми же лицами и с тем же удовольствием. Знали, что Струве за войну, а социал-демократы против, но это представлялось второстепенной подробностью. Существенно было то, что

и «Освобождение», и «Искра», и «Революционная Россия» идут против самодержавия, ругают правительство.

Академическая жизнь протекала у нас во вторую половину 1904 года мирно, без потрясений, без конфликтов.

Уклон студенчества в сторону радикализма проявлялся в разговорах, в чтении нелегальной литературы, да еще в том, как относилась молодежь к различным профессорам.

Симпатиями пользовались лишь левые профессора. Но понятие о «левизне» было у нас довольно смутное.

«Левыми» считались: и Е. Тарле, читавший лекции о французской революции, и Л. Петражицкий, высказывавшийся с кафедры за академическую автономию, и В. Гессен, и А. Покровский, и многие другие, — короче, все те профессора, которые позже нашли свое место в Академическом Союзе, а еще позже — в рядах конституционно-демократической партии или по близости от нее.

В 1904 г. радикализм этой части профессуры более или менее удовлетворял беспартийную студенческую молодежь.

В научных кружках, где под руководством профессоров и приват-доцентов занимались наиболее серьезные и работающие элементы студенчества, радикализм был ярче и носил более или менее ясную социалистическую окраску.

Здесь социал-демократы и социалисты-революционеры выступали почти открыто, — под прощальными и никого не обманывавшими псевдо-

нимами «марксистов» и «сторонников субъективного метода в социологии».

Марксистов особенно много было в кружке политической экономии, которым руководил приват-доцент В. Святловский. Здесь я и познакомился впервые с партийными студентами, — познакомился, но не сошелся близко.

Дело в том, что я был в то время сторонником психологической теории ценности и со всей энергией защищал эту теорию против атак силовых фаланг университетских марксистов, уличавших меня за это в мелко-буржуазности¹⁾. Целые заседания кружка проходили в спорах между нами, и в результате за мной установилась репутация «марксиста-еда», — репутация, исключавшая возможность более тесного сближения с социал-демократической студенческой организацией, — единственной, которая сколько-нибудь интересовала меня...

Осень 1904 г. ознаменовалась началом общественного подъема. 6-го ноября в Петербурге собрался съезд земских деятелей, выработавший всеподданнейший адрес, в котором упоминалось о «безусловной необходимости правильного участия народного представительства, как особого выборного учреждения, в осуществлении законодательной власти, в установлении государственной росписи доходов и расходов и в контроле над законностью действий администрации». Это было открытое требование конституции.

¹⁾ Замечу мимоходом, что ни одному из моих тогдашних оппонентов не было суждено остаться до конца в марксистском лагере, а иные из них вскоре ушли очень далеко вправду.

Ряд высших учебных заведений (в частности, Московский Университет) представил съезду заявления, подчеркивавшие необходимость добиваться созыва Учредительного Собрания, основанного на всеобщем голосовании.

Петербургское студенчество осталось в стороне от этой кампании, хотя, конечно, и у нас не трудно было бы собрать под подобным заявлением несколько тысяч подписей. Но у нас во-время никто не подумал о желательности такого выступления, а потом уже поздно было, момент был упущен.

Между тем, по всей России шли политические банкеты, публичные собрания научных обществ, открытые заседания городских дум и земских собраний, — проявления «весны» Святополка-Мирского.

Местами банкеты выливались во внушительные манифестации, в которых социал-демократическая партия и организованные ею рабочие играли заметную роль. Рядом с требованием государственных преобразований выдвинулся новый лозунг — немедленное прекращение войны.

Запелось и студенчество. В Петербургском Университете начались разговоры о необходимости «уличного выступления». Стали готовить демонстрацию, в которой студенты должны были выступить вместе с рабочими.

Подготавливалась эта демонстрация до последней степени плохо. Полиция знала обо всех планах, а студенческая масса питалась лишь смутными слухами. Разгорелись споры между эсерами и эсдеками — должна ли демонстрация быть мирной или вооруженной. Спорили в коридорах, на

лестнице, в университетской столовой, в курильне, — совершенно открыто.

Наконец, назначили манифестацию на 28 ноября; затем, отменили это решение; потом, чуть ли не накануне, назначили вновь на этот день. Кончилось дело полным провалом: рабочие на демонстрацию не пошли, студентов и куренсток собралось очень мало (едва ли больше 150 человек). Все же в назначенное время на Невском проспекте, около Думы, выкинули красные флаги. Но налетевшая со всех концов полиция в одно мгновение рассеяла «крамольников» и принялась по одиночке избивать их. Многие студенты, пришедшие на Невский Проспект с целью участия в манифестации, — в том числе и я, — не успели даже присоединиться к демонстрантам, — так быстро кончилось все.

Вечером в этот день был традиционный благотворительный бал в Технологическом институте. В одной из аудиторий устроили сходку для обсуждения случившегося. Говорили представители различных партий. Это была первая нелегальная сходка, на которой мне пришлось присутствовать. И должен признаться, впечатление получилось у меня смутное и не очень благоприятное: было много красноречия, много споров, много жару, но ничего единого, целостного, сильного.

Неделю спустя была предпринята попытка уличной манифестации студентов и рабочих в Москве, — результат оказался тот же, что и в Петербурге: рабочие опять не пришли, опять студентов собралась крошечная кучка, и все кончилось, как и в Петербурге, публичением демонстрантов на глазах любопытной публики.

После этих неудач настроение среди студенчества заметно упало. Казалось, не скоро раскиснет студенческая масса на новое выступление, не скоро создастся возможность выявления в революционном действии ее оппозиционного, противоправительственного настроения.

Таково было мое впечатление от студенчества, когда, в декабре 1904 г., я уезжал из Петербурга за границу.

Когда месяц спустя я вернулся в Россию, Университет нельзя было узнать.

Впрочем, и вся общественная жизнь до неузнаваемости изменилась за эти несколько недель. Сдвинулись все грани, переместились все группировки, появились новые силы, новые люди, новые лозунги, политическая борьба пропала себе новое русло. Да и я сам возвращался в Россию не тем, каким был месяц тому назад.

За этот месяц произошло 9-ое января.

* * *

Январские события застали меня во Флоренции. Я жил здесь в небольшом русском пансионе и целыми днями бродил по городу, любясь сокровищами искусства, рассеянными в музеях, церквях и дворцах. А вечера проводил за газетами. Русские газеты приходили с большим опозданием и не каждый день. Но в городе можно было достать французские и немецкие газеты. А кроме того, хозяйка пансиона — интеллигентная русская дама, уже давно заброшенная судьбой в Италию —

каждый вечер переводила нам из местных газет сообщения о русских делах.

Итальянская пресса уделяла в то время много внимания России, — точнее, впрочем, не России, а русско-японской войне.

Только что пал Порт-Артур. Печатались подробности о последних днях обороны, рассказы военно-пленных, описания вступления японских войск в крепость. Настроение газет — по крайней мере тех, с которыми я мог ознакомиться — было открыто руссофобское.

Об успехах японцев сообщали, как о новости, которая, несомненно, должна доставить удовольствие итальянскому читателю. О событиях внутренней жизни России писали мало — и то лишь в той мере, в какой эти события имели отношение к войне: передавали о признаках растущей разрухи, как о фактах, облегчающих Японии окончательную победу.

4-го января появилось в местных газетах сообщение из Петербурга: «Забастовал Путиловский завод, работающий на военное ведомство». Передавая эту новость, итальянские газеты подчеркивали, что Путиловский завод — самый большой из военно-механических заводов России, и что забастовка на нем задержит отправку на Дальний Восток Балтийской эскадры.

Помню, я не придавал большого значения этому известию.

На другой день пришли новые вести: забастовочное движение в Петербурге разрастается; путиловские рабочие, рассеявшись по городу, обходят заводы и фабрики, призывают всех рабочих прим-

кнута к забастовке; многие предприятия уже остановились; ожидают, что забастовка станет всеобщей. . .

Газеты приводили подробности о происхождении этой, столь неожиданно вспыхнувшей, забастовки: дело началось из-за несправедливого увольнения с Путиловского завода четырех рабочих; за обиженных вступился заводской священник пater Гапон, но его обращения к администрации оказались бесплодны; тогда пater призвал к забастовке всех петербургских рабочих.

На личности патера газеты останавливались особенно охотно: итальянским читателям было интересно узнать, что их соотечественник Гапон стоит во главе широкого движения в варварской России.

У патера — огромная организация, одиннадцать отделов во всех частях города; русские рабочие чуть не молятся на него, слепо верят каждому его слову, готовы идти за ним в огонь и в воду.

— Что за чертовщина! думал я, пока хозяйка пансиона переводила нам из местной газеты все эти сообщения: Итальянский пater во главе русских рабочих! Всеобщая забастовка из-за увольнения четырех человек! Видно, о российских делах можно здесь врать, что угодно, — всему поверят.

6-го января петербургским событиям были посвящены в итальянских газетах целые колонки: забастовка охватила почти весь город; число забастовщиков превышает 100 тысяч человек; рабочие требуют восьми-часового рабочего дня; движение поддерживается революционными партиями; происходят

столкновения рабочих с полицией; для поддержания порядка вызваны войска.

По прежнему над всеми сообщениями царил фантастическая фигура патера Гапони (который, в представлении флорентийских газет, так и оставался до самого конца итальянцем и чуть ли не эmissаром Святейшего Престола). Но за исключением этой подробности, в известиях, идущих из Петербурга, теперь уже не было ничего фантастического: развертывалась картина массового выступления пролетариата, подобная картинам рабочего движения Англии или Германии, о котором я знал из книг.

Я почувствовал, что там, в Петербурге, совершается что то огромное, было обидно и стыдно, что в эти дни я оказался так далеко от России, — почему то в чужой мне Флоренции, посреди мертвых памятников прошлого.

А вместе с тем насмешливый внутренний голос твердил мне: «Ну, а если бы ты был в эти дни в Петербурге, что стал бы ты делать? Ведь вот, 28-го ноября, на демонстрацию то не пошел, опоздал. А о том, как готовились, нарастали нынешние события, ты, сидя в Петербурге, знал так же мало, как если бы всю жизнь прожил на необитаемом острове!»

Утром 7-го я с жадностью набросился на газеты. Телеграммы из России были помещены на первой странице, под огромными заголовками. Мне бросились в глаза набранные особенно крупно слова: «Св. Св. Петр и Павел».

Хозяйка перевела мне: речь шла о «крепости Святых Петра и Павла», то есть о «Петропавловке»:

накануне, в день Крещения, крепость открыла артиллерийский огонь по Зимнему Дворцу; был дан залп по устроенным на льду мосткам для водосвятия, на которых находился царь с семьей, с приближенными и министрами; убитых нет, но много раненых...

Помню подробность, — заключительную фразу газетной телеграммы хозяйка перевела так: «Адмирал Авелан имел свою шляпу в куски».

Сообщение вызывало много недоуменных вопросов: Почему только один залп? И как это, в результате залпа на столь близком расстоянии, — ни одного убитого? И каким чудом уцелел Николай?

Но сколь ни казалось странным это стечение обстоятельств, еще менее правдоподобным представлялось предположение, что крепостные пушки осыпали царскую «Мордань» картечью по ошибке, вместо почетного салюта...

Новое известие невольно сплеталось с сообщениями последних дней. События приобретали окраску все большего драматизма.

А стачка в Петербурге разрасталась. 8-го января газеты сообщили о том, что газовые заводы и электрические станции примкнули к забастовке, и вечером город был погружен во тьму. В тот же день стало известно, что патер Гапон решил предъявить царю петицию о нуждах рабочих, под петицией собираются подписи во всех заводских районах, и 9-го января все петербургские рабочие пойдут к Зимнему Дворцу для вручения этой петиции Николаю.

О содержании петиции газеты передавали разное. Точный текст ее, помнится, не был сообщен в телеграммах. Были приведены лишь основные требования: немедленное прекращение войны, созыв Учредительного Собрания, амнистия, 8-ми часовой рабочий день.

Как ни слабо я разбирался в то время в политических вопросах, для меня было ясно, что это — требования революционные. И потому я не мог понять предъявление подобных требований в форме всеподданнейшей петиции.

Что означает это шествие рабочих к царскому дворцу? Откуда выплыл загадочный патер с нерусской фамилией, ведущий рабочих этим путем?

Вечерние газеты 8-го января сообщали, что рабочие едва ли будут допущены к царю, что правительство готовится к подавлению движения вооруженной силой, в Петербурге в общественных кругах царит тревога, и в воскресенье, 9-го, можно ожидать кровавых событий.

Дольше оставаться вдали от России я не мог, и 9-го утром я выехал в Петербург через Германию.

В Мюнхене пришлось задержаться на несколько часов, — от поезда до поезда.

Уже вышли вечерние газеты. Целые полосы были посвящены петербургским событиям. В аншлагах мелькали слова: «Кровавая баня», «Бойня», «Кровавое воскресенье», «Революция в Петербурге». С глубоким волнением читал я описание событий этого дня.

Утром рабочие толпы со всех сторон города двинулись к Зимнему Дворцу. Во главе рабочих

Нарвского района шел священник Гапон⁴⁾. Рабочие были безоружны, несли церковные хоругви, кресты, иконы, царские портреты. У Нарвских ворот им преградили дорогу войска. Без предупреждения открыли огонь. Войска стреляли и у Зимнего Дворца, и на Троицком мосту, и на Васильевском Острове. Сотни рабочих убиты, тысячи ранены...

Поздно вечером вышли экстренные прибавления. На Васильевском Острове барикады... Повстанцы дерутся с войсками... Некоторые воинские части перешли на сторону народа...

Ждать на вокзале было долго. Время тянулось нестерпимо медленно. Я вышел в город и пошел бродить по незнакомым улицам.

Итак, там идет бой. Строятся барикады, гремят залпы, льется кровь. С болезненной отчетливостью все происходящее там я чувствовал теперь, как нечто близкое мне, кровно меня касающееся.

Обычной чередой катилась вечерняя жизнь города. Гремела музыка за ярко освещенными окнами кафе. Горлачили песни кучки студентов:

Неотступно сверлила мозг мысль:

— Почему я здесь? Разве здесь мое место?

Еще несколько дней тому назад я не считал себя революционером, и сама революция представлялась мне чем то далеким, каким то отвлеченным понятием. Никаких обязательств я на себя не принимал, — а все же в эту ночь мне было мучительно стыдно, что я нахожусь вдали от борьбы, вдали от опасности, в Мюнхене, а не в Петербурге.

⁴⁾ Немецкие газеты называли его правильно.

Без цели бродя по улицам, я наткнулся на группу людей, стоявших около освещенной витрины с ночными телеграммами.

Человек в кепке читал вслух, остальные внимательно слушали. Помнится, речь шла о захвате рабочими оружейного магазина. Дочитав до конца, человек в кепке заметил раздумчиво:

— Ну, теперь у них пойдет!

Затем неожиданно обратился ко мне:

— Вы русский?

— Да.

— А, товарищ! Ну, поздравляю вас. У вас теперь все хорошо пойдет. Мы вам всего хорошего желаем. Мы все социалисты.

Кто то сказал:

— Может быть, в редакции — он назвал какую то местную газету — новые телеграммы получены?

Человек в кепке подхватил меня под руку:

— Пойдемте туда! Это вам будет интересно, да и всем нам тоже.

Долго ходил я с моими новыми знакомцами от редакции к редакции. Читали появлявшиеся в витринах новости, и нам казалось, что дела в Петербурге идут хорошо, что перевес в борьбе все больше склоняется на сторону рабочих.

Лишь на другой день, в Берлине, я понял, что это был самообман, что 9-го января не было восстания, не было борьбы, а была бойня безоружных людей. Казалось, что на этой бойне стремительный поток событий оборвался, что дальше, — по крайней мере, в ближайшие дни, — ничего не будет.

Нечего было спешить возвращаться в Россию...

Но нет! То и дело приходили известия, противоречившие представлению о наступившем после «кровавого воскресенья» ватишье.

Пришла телеграмма о том, что восставшие колпинские рабочие идут на Царское Село. Передавали, что Царское Село окружено революционными силами и отрезано от столицы, что Николай II со своей семьей не то бежал за границу, не то собирается бежать. Пришла телеграмма о том, что священник Гапон освободил солдат от присяги царю. Шли сообщения о забастовках протеста в Москве, Вильне, Ковно, Киеве, Ревеле, Риге, на Кавказе.

В Европе происходили манифестации протеста против петербургских расстрелов. Собирались рабочие митинги, печатались резолюции. В итальянском парламенте социалисты требовали, чтобы правительство выступило официально с выражением негодования против политики царизма. В газетах появилась рубрика: «Революция в России».

Больше всего внимания уделял России „Vorwärts“. Эта газета сделалась для меня необходимой, и я досадовал, что ее нельзя было достать в ближайших к гостинице кварталах.

Перед моим отъездом из Берлина новую пищу дали газетам изданное русским правительством сообщение, что беспорядки в России подстроены японцами и англичанами с той целью, чтобы задержать отставку на Дальний Восток Балтийской и Черноморской эскадр. Эта выдумка, повидимому, была рассчитана на «внутреннее употребление». Но она проникла также и за границу

и произвела здесь впечатление, которого авторы выдумки не предвидели. Теперь о российском правительстве говорили и писали, как о собрании людей «в равной мере бесчестных, жестоких и глупых». Особенно резко выступали социал-демократические газеты, на Николае II сводившие свои счеты с Вильгельмом II.

О русском народе, о русских рабочих эти газеты писали братски дружественно, горячо, — для меня это было первое осознательное проявление той «международной солидарности пролетариата», о которой до сих пор я знал лишь из книг...

Приближаясь к русской границе, я упорно думал о событиях последних дней, старался понять их внутренний смысл, угадать, что будет дальше, определить свое место в потоке событий.

В воображении вставали картины, обвеянные романтикой Великой Французской Революции. Но я смутно чувствовал, что все это не то, что эти картины не похожи на действительность 9-го января, как непохожи и на ту неизвестность, навстречу которой я ехал...

На границе — привычная будничная картина. Проверка паспортов, досмотр багажа, жандармы. И дальше все по старому, — ничто не изменилось, ничто не сдвинулось с места.

— Где же революция? думал я: Неужели все это газетные выдумки?

И чем ближе подъезжал я к Петербургу, тем таинственнее казалась мне загадка встревоженной русской жизни.

Отчетливо ясно было лишь одно: что после 9-го января нет возврата к старому.

Это я чувствовал по себе.

* * *

Оглядевшись немного в Петербурге, я убедился, что к старому, действительно, не было возврата.

Впечатление, произведенное расстрелом 9-го января на все слои населения России, было огромно.

На митингах, банкетах, собраниях лозунгу «Долой самодержавие!» теперь рукоплескали люди, которые недавно еще утверждали, что подобные слова во время войны могут срывать лишь с уст тайных агентов Японии.

В Петербурге возбуждение было особенно велико.

Правда, на следующий день после «кровавого воскресенья» рабочие массы казались скованы ужасом и отчаянием. Проклинали Гапона, проклинали социал-демократов, обвиняли их за пролитую кровь. Но очень скоро это настроение сменилось другим, — ненавистью против виновников бойни, жаждой борьбы, жаждой мести. Революционизированию рабочих, усвоению ими урока 9-го января не мало помогла устроенная Треповым комедия приема царем «рабочей депутации».

Слова Николая II рабочим: «Я верю в честные чувства рабочих людей и в непоколебимую преданность их мне, а потому прощаю им вину их» — заделли за живое рабочих, были приняты ими, как издевательство убийцы над павшими жертвами.

13

Такую же оценку получили эти слова и в петербургских интеллигентских кругах.

Здесь почти каждый был свидетелем того или другого момента разыгравшейся драмы.

Когда я приехал в Петербург — это было до приема царем «рабочей депутации», то есть до 19-го января — в городе только и было разговоров, что о «кровавом воскресенье». Особенное возмущение вызывали отдельные подробности: стрельба по церковным хоругвям у Нарвских ворот; убийство ребятшек, взобравшихся на деревья Александровского сквера, чтоб лучше видеть толпу и войска; императорский штандарт, поднятый над Зимним Дворцом, покинутым Николаем, и будто нарочно заманивавший в ловушку идущих к царю рабочих...

Гапон был героем дня, вокруг его имени слагались легенды. В бесчисленных списках ходило по рукам его обращение к народу:

«... Братья — товарищи, рабочие всей России! Вы не станете на работу, пока не добьетесь свободы. Пищу, чтоб накормить себя, и оружие разрешаю вам брать, где и как сможете. Бомбы, динамит — все разрешаю... Стройте барикады, громите царские дворцы и палаты...

«Солдатам и офицерам, убивающим невинных братьев, их жен и детей, всем угнетателям народа — мое пастьерское проклятие! Солдатам, которые будут помогать народу добиваться свободы — мое благословение. Их солдатскую клятву императору-царю, приказавшему пролить невинную кровь, разрешаю...»

Вся эта мистика — сочиненная, к слову сказать, на священником Гапоном, а инженером

14

Рутенбергом — казалась необычайно сильной, идущей прямо к сердцу народа.

Университет был закрыт, — в виду тревожных событий начальство решило продлить дольше обыкновенного рождественские каникулы. Наконец, появилось объявление, что занятия возобновятся 7-го февраля. Одновременно стало известно, что в этот день, в 2 часа, соберется в Актовом Зале общестуденческая сходка.

Я пришел в Университет задолго до назначенного часа. Лестница и коридор были уже запружены студенческой толпой. Говорили об инциденте, происшедшем только что из-за приказа ректора Жданова не пропускать никого в Актовый Зал. Студенты, возмущенные этим приказом, не то выломали дверь, не то насильно отобрали ключи у сторожа, — и Актовый Зал наполнился молодежью. Председательствовал Замятин, студент-горняк, незадолго до того исключенный из Института. Его пиджак резко выделялся из моря форменных студенческих тужурок.

В порядке дня было два вопроса: 1) Последние события. 2) Как реагировать на них студенчеству?

Речи следовали одна за другою. Содержания их я не помню, — пожалуй, и на другой день после сходки я не сумел бы пересказать их. Да и не в содержании была суть этих речей, а в настроении, в той революционной страсти, которой были полны в эти часы ораторы и слушатели.

Лозунг всероссийской студенческой забастовки был встречен бурей рукоплесканий. Попытался выступить представитель «Денницы», но его не стали слушать. Настроение повышалось все больше

и больше. Когда предложение о забастовке было поставлено на голосование, целый лес рук поднялся над толпой.

— Обратное голосование! провозгласил председатель: Кто против?

Поднялось две-три руки.

В общем шуме не слышно было голоса председателя. Напрасно потрясал он в воздухе колокольчиком, пытаясь восстановить тишину. Сходка казалась оконченной. Часть толпы хлынула в двери. Вдруг раздалось:

— Товарищи, не рас-хо-ди-тесь!

На кафедре, покинутой Замятиным, появился длинноволосый студент в серой тужурке. На момент стихло все, — ждали, что будет дальше. В этот миг за кафедрой, против царского портрета, поднялся высоко над толпой деревянный пест. Раздался треск раздираемого холста.

Кто-то, в задних рядах, крикнул:

— Не надо!

Но огромная дыра уже зияла в портрете¹⁾.

— Долой самодержавие! гудел чей то громовый бас.

Оцепенение, на мгновение овладевшее толпой, уже прошло. С криком «ура», давя друг друга, студенты ринулись вперед на эстраду, на штурм царского портрета. Рвали из золоченой рамы покрытый краской холст; пестрые клочки мелькали в воздухе.

¹⁾ Впоследствии передавали, что инициаторами этого акта были студенты-анархисты. Не знаю, насколько это верно.

Было что то ребяческое в радостном возбуждении этих минут. Но трудно было не поддаться общему порыву...

Когда я выбрался в коридор, держа в руках порядочный лоскут холста, ко мне подошел незнакомый молодой человек в штатском и, отрекомендовавшись «представителем американской печати», просил меня уступить ему мою добычу.

— Это очень интересно для газет, объяснял он на ломанном русском языке: У меня есть несколько кусков, но я хотел бы еще...

У него, действительно, все карманы уже были набиты реликвиями.

Вокруг нас смеялись: американец, собирающий клочки крашеного холста, казался безобидным чудачком. Но я тогда же подумал, что это не пустое чудачество, что молодой журналист правильно уловил значительность того, что произошло в Актовом Зале...

* * *

С середины февраля академическая забастовка охватила все высшие учебные заведения. Но студенты не разъезжались из Петербурга. Оставались открыты университетская библиотека, общежитие и столовка; продолжала функционировать часть научных кружков. Университет с пустыми, закрытыми аудиториями оставался центром студенческой жизни.

Здесь мы получали нелегальные издания, толковали — по обывательски — о политике, узнавали новости.

А новости были такие, что от них все тревожнее билось сердца.

С театра военных действий приходили известия о новых поражениях. Рассеялась легенда о «героической» обороне Порт-Артура. В конце февраля русская армия была разбита под Мукденем, 15-го мая погибла эскадра Рождественского под Цусимой.

Непрерывной волной шли рабочие беспорядки. Для рабочего класса России залпы 9-го января прозвучали, как звон набатного колокола. Забастовки ярко-революционного характера прокатились по всем промышленным районам, — от Польши до дальней Сибири, от Прибалтийского края и Финляндии до Закавказья. Во многих местах были столкновения с войсками, порой барикадные бои.

В феврале начались частичные железнодорожные забастовки, — местами с экономическими требованиями, местами в знак протеста против бойни 9-го января.

С огромным волнением следили мы за кампанией, разгоревшейся в связи с комиссией сенатора Шидловского, образованной «для безотлагательного выяснения причин недовольства рабочих в гор. С. Петербурге и его пригородах и выискания мер к устранению таковых в будущем»¹⁾.

Успех этой кампании в не малой степени способствовал росту престижа рабочего класса в глазах интеллигенции, в частности, в глазах студенчества. После 9-го января все признавали героизм петербургских рабочих; но трудно было при-

¹⁾ Не останавливаясь здесь подробнее на этой страничке истории нашего рабочего движения, так как в то время, хотя я и следил с большим вниманием за развитием кампании, многое в ходе ее оставалось мне неясно.

²⁾ Войтинский.

16

знать политически зрелой массу, шедшую за Гапопом. Комиссия Шидловского явилась недоставившим свидетельством сознательности этой массы.

Указ 18 февраля о «предоставлении частным лицам и учреждениям подавать царю проекты по вопросам государственного благоустройства» доставил либеральной оппозиции опорный пункт для наступления против «бюрократического строя». Усилилась кампания съездов, банкетов, петиций. Все громче в хор либеральных ходатайств врывался голос передовых рабочих.

Весной вспыхнули аграрные волнения. Со всех концов России шли известия о захвате крестьянами помещичьих земель, о разгроме усадеб.

А в июле усилились волнения в войсках. Пришли вести о беспорядках в гвардейских эскадрах. Наконец, взвился красный флаг над «Потемкинским Таврическим».

Было ли это — революционное восстание или случайная вспышка темного бунта?

В записке, оставленной на связанном на берег трупе убитого матроса, команда броненосца так освещала причины своего возмущения:

«Господа одесситы, перед вами лежат труп зверски убитого старшим офицером броненосца «Князь Потемкин Таврический» матроса Вакуленчука за то, что он осмелился заявить, что борщ никуда не годится. Товарищи! Осеним себя крестным знаменем и стоим за себя. Смерть угнетателям! Смерть вампирам, да вдравствует свобода!»

А пять дней спустя, та же команда извещала «весь цивилизованный мир»:

«Царское правительство решило, что лучше утопить страну в народной крови, чем дать ей свободу и лучшую жизнь...»

«Однако, обезумевшее самодержавие забыло одно, что темная и забитая армия — это сильное оружие его кровавых замыслов — есть тот же самый народ, есть те же самые сыны трудящихся масс, которые решили добиваться свободы. И армия рано или поздно поймет это и сбросит, наконец, с себя позорное пятно палачей своих же отцов и братьев. И вот мы, команда эскадренного броненосца «Князь Потемкин Таврический», решительно и единодушно делаем этот первый великий шаг.

«Мы требуем непременно приостановки бессмысленного кровопролития на полях далекой Манчжурии. Мы требуем непременно созыва Всероссийского Учредительного Собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права. За эти требования мы единодушно готовы, вместе с нашим броненосцем, пасть в бою или выиграть победу».

Это было самое крупное событие в хронике революционной борьбы, — и ни у кого не являлось сомнения, возможен ли столь быстрый переход от борща к Учредительному Собранию...

Нелегальная печать горячо обсуждала вопрос о предстоящем вооруженном восстании, о способах борьбы с артиллерией, пехотой и

17

конницей, о постройке баррикад, об организации штабов, о том, какие пункты города и в каком порядке должны занимать повстанцы. Казалось, поток событий стремительно несет нас к этой «последней схватке» народа с его врагами.

6-го августа появился манифест о созыве законосовещательной Государственной Думы. Либеральная оппозиция, после некоторых колебаний, склонилась к тому, чтобы «принять» детище Булыгина. Лозунгом социалистических партий и радикально-демократических групп стал бойкот¹⁾.

Закипела борьба между либералами и революционерами вокруг вопроса о Думе. В ходе этой борьбы все отчетливее вырисовывалась мысль о восстании в связи с созывом Думы, — быть может, в тот самый день, когда Дума приступит к работам.

Лето 1905 года я провел на даче под Петербургом. Газетные известия о революционном движении действовали на меня почти так же, как в январские дни.

В течение всего этого периода, от января по сентябрь 1905 г., гегемоном революционного движения в России явно был пролетариат: рабочая кровь лилась в Петербурге, Лодзи, Варшаве, Нижнем Новгороде, Одессе. Было что-то захватывающее, величественное и вместе с тем бесконечно трогательное в этом самопожертвовании тысяч простых, малообразованных людей во имя спасенья

¹⁾ Особую позицию, отличную и от «принятия» Государственной Думы и от «бойкота», заняла заграничная «Искра». Но эта позиция не была понята даже многими меньшевистскими организациями в России и, во всяком случае, не оказала заметного влияния на широкие общественные круги.

страны от душающего ее самодержавного строя. Рядом с величием этих жертв, рядом с выступлениями рабочих масс, незначительной, почти жалкой казалась роль других общественных групп.

И это создавало неотразимо яркий ореол вокруг партии, поставившей своей целью — освобождение рабочих силами самих рабочих.

Как многие интеллигенты, и я испытал на себе гипноз героической борьбы пролетариата. С каждым днем все сильнее тянуло меня принять активное участие в этой борьбе.

И по мере того, как меня увлекало рабочее движение, все яснее становилась для меня теория марксизма, еще недавно казавшаяся мне «узкой» и «недостаточно научной».

Осенью 1905 г. я не был еще вполне последовательным марксистом, но уже чувствовал себя социал-демократом и горел нетерпением занять место в рядах социал-демократической партии.

* * *

Вернувшись в Петербург после летних каникул, я принялся разыскивать связи с социал-демократической партией. Встретился в канцелярии Университета с Борисом Бразолем, секретарем кружка политической экономии. Он был твердокаменным марксистом и считался в кружке «партийным» социал-демократом.

— У меня к вам просьба, сказал я ему: Я хочу вступить в партию, — укажите мне, куда обратиться.

Бразоль притворился удивленным:

— В какую партию вы хотите вступить?
переспросил он меня.

— В социал-демократическую.

— Но ведь вы не марксист!

— Я считаю себя социал-демократом.

— Без трудовой теории ценности? Без материалистического понимания истории?

— Успокойтесь, и с тем, и с другим.

— Это меняет дело. Заходите ко мне завтра, я познакомлю вас с одним товарищем.

У Бразоля я застал незнакомого мне студента¹⁾. Маленький, подвижный, с огромной бородой, с блестящими, живыми глазами, с уверенными манерами, с насмешливой речью, — он, с первого же взгляда, напомнил мне гнома из сказки.

Начался вопрос.

— Вы знакомы с программой Эр-Эс-Дэ-Эр-Пэ?

— Как вы сказали?

— Я спрашиваю, знакомы ли вы с программой Российской Социал-Демократической Рабочей Партии.

— В общих чертах. . .

— Но название «Эр-Эс-Дэ-Эр-Пэ» для вас ново?

— По правде, да. Я не обращал внимания. . .

— Да может быть, вы вовсе не эсдек, а эсер?

— Товарищ Бразоль, вероятно, уже передал вам, что я считаю себя социал-демократом, хочу работать в социал-демократической партии, готов подчиняться партийной дисциплине.

Переглянувшись с Бразолем, гном сказал мне:

— Это прекрасно, но самое существенное: большевик вы или меньшевик?

¹⁾ Это был А. Я. Каплан.

— Должен признаться, что я плохо разбираюсь в разногласиях между фракциями.

— Неужели? Но ведь это так просто! Прежде всего, вы за революционную борьбу или за соглашательство?

— За революционную борьбу.

— Это и есть точка зрения большевиков. Теперь следующий пункт. Как относитесь вы к участию социалистов во временном революционном правительстве?

— Я не знаком с этим вопросом.

— Но тут и вопроса нет! Неужели, низвергнув самодержавие, мы передадим все плоды победы в руки наших классовых врагов, в руки либералов, готовых в любой момент изменить революции? Ведь это было бы безумием! Вы согласны со мной?

— Да, но я хотел бы. . .

— Вы хотели бы знать аргументы меньшевиков? У них нет никаких аргументов! Ничего, кроме собственного мелкой буржуазии страха перед революцией. Поверьте мне! А теперь третий пункт: как относитесь вы к Булыгинской думе?

— То есть? . . .

— Вы сторонник участия в Думе, где либералы будут продавать царизму интересы народа?

— Разумеется, нет.

— Ну и прекрасно! Значит, вы большевик! Будем вместе работать. Вашу руку, товарищ! Остается сговориться о подробностях. Какую работу хотели бы вы взять на себя?

Немного смущенный той поспешностью, с какой гном зачислил меня в большевики, я признался,

что не ясно представляю себе, в чем именно могла бы заключаться моя работа.

— У нас имеются три вида работы, объяснил мне мой собеседник: агитаторская, пропагандистская и организаторская. Организаторская работа не подойдет вам, раз вы не знакомы с историей фракционных равногласий. Пропаганда была бы скорее по вашим силам, но вы, кажется, насчет марксизма не очень тверды. ... Принимайтесь за агитацию!

— Согласен.

— В таком случае, мы вам сейчас район назначим. ...

Бородач, перелистывая крошечную книжечку, что то соображал. Бразоль предложил:

— Давайте пока Войтинского к нам!

— Это идея. Значит, университетский подрайон интеллигентского района. Прощайте, товарищ! Мне некогда.

Отметив что то в своей книжке, гном пожал нам руки и поспешно вышел.

По уходе его, Бразоль объяснил мне, что я принят в большевистскую организацию Социал-Демократической Рабочей Партии; что во главе этой организации стоит Петербургский Комитет; что вся организация разбита на районы, соответственно территориальному делению города, при чем высшие учебные заведения выделены в особый «интеллигентский район»; что я причислен к университетской ячейке этого района, и что на меня возложена агитаторская работа, то есть, выступления на собраниях, где я должен буду проводить директивы центра. В заключение Бразоль передал мне при-

глашение — явиться на следующий день в 8 часов вечера по такому то адресу.

* * *

Явившись туда, я попал на заседание университетского большевистского комитета, который, оказалось, успел уже кооптировать меня в свой состав. Заседали мы в бедно обставленной студенческой комнате. Кроме Бразоля и меня, присутствовали еще три человека, — все они показались мне хорошими ребятами, но недалекими, немного бесцветными. Один за весь вечер не проронил ни слова, лишь улыбался, показывая два ряда белых зубов, да кивал головой. Другой изредка вставлял в разговор короткие, ничего не значущие реплики. Третий — хозяин комнаты — говорил много и скучно.

Начали с организационных вопросов. Комитет конструировался в составе пяти человек. Распределили функции: хозяин комнаты — организатор подрайона и представитель университетского комитета в «районе», Бразоль — секретарь, молчаливый студент с белыми зубами — заведующий «техникой» (то есть, печатанием листов). Меня, после краткого обмена мнениями, назначили комитетским «оратором», решив, что я буду выступать от имени комитета на предстоящих сходках. Тут же предложили мне избрать партийный псевдоним и я, недолго думая, «присвоил» себе первое пришедшее на ум имя — «Сергей Петров».

Сходок предстояло несколько, так как изданный 27-го августа указ об автономии высших учеб-

20

ных заведений ставил перед студенчеством множество новых вопросов. Но решающее значение должна была иметь ближайшая сходка, назначенная на 13-ое сентября. По поводу нее «организатор» представил нам обстоятельный доклад.

Первую сходку, говорил он, нам придется посвятить целиком тактическому вопросу: продолжать ли объявленную в феврале забастовку, или открыть Университет?

Взгляд на этот вопрос «районного комитета» таков: продолжать забастовку нет смысла; Университет, как и другие высшие учебные заведения, нужно открыть и использовать для революционной работы. Эта тактика рекомендуется студенчеству Центральным Комитетом Партии¹⁾. «Организатор» ознакомил нас при этом с обращением Центрального Комитета «ко всей учащейся молодежи». «К моменту выборов (в Государственную Думу), говорилось в этом обращении, должны быть мобилизованы все силы революции, должны быть готовы к решительной борьбе и «академические легионы». Для этого вы должны собраться в университетских городах, вы должны воспользоваться вашими аудиториями, как трибунами для обличения правительства, как местом для революционных штабов ваших «легионов». Для этого, а не для мирных занятий, вы должны открыть учебные заведения... Вы используете аудитории и все те удобства, которые составляют учебные заведения, чтобы совместно с пролетариатом немедленно же начать подготовку к вооруженному восстанию, этому един-

¹⁾ Большевистским.

ственному исходу русской революции. Широко агитировать идею восстания, знакомить товарищей с задачами и техникой уличной борьбы, выработать целесообразные формы организации для боевого момента, организовать боевые дружины, содействовать мобилизации пролетариата — за все это должно немедленно приняться революционное студенчество, и для этой цели оно должно обратить валы университетов и институтов в штаб-квартиры своей революционной работы».

Таким образом, Центральный Комитет, предлагая нам прекратить забастовку и открыть Университет, подчинял всю нашу тактику идее вооруженного восстания.

Когда произойдет восстание и чем будет эта последняя и решительная схватка народа с царизмом, мы не знали. Но пока что нам и не приходилось задумываться над этим вопросом, — от нас требовалось лишь открыть Университет.

Почти без прений мы приняли предложение Центрального Комитета. Тут же набросали проект резолюции и перешли к выработке подробностей ведения предстоящей сходки.

Наметили президиум: председатель Энгель (примыкающий к нашей группе), при нем два товарища председателя, — один наш, другой — по выбору ассеров. Условились относительно порядка дня. Наконец, постановили, что я должен буду выступить на сходке два раза: сперва — с докладом, а позже — с ответом противникам.

* * *

21

Готовясь к выступлению, я поинтересовался узнать, что пишет по стоящему перед нами вопросу «Искра».

Еще в июле (в № 107) «Искра» наметила широкий план тактики студенчества. Наибольшее значение газета придавала тем услугам, которые могут оказать студенты революционной толпе в качестве интеллигентных агитаторов, с одной стороны, в качестве лиц, обладающих специальными техническими знаниями, с другой. «Организованные уже в силу группировки своей по учебным заведениям, писала «Искра», эти тысячи легко возбуждающейся молодежи являются отличным проводником революционного тока и при начале великих массовых выступлений, и в частности, при начале народного восстания, могут оказаться незаменимым орудием в руках революционных партий. Роль, которую студенты играли во всех революциях при постройке и защите барикад, при всяких «военных» действиях восставших народных масс, достаточно известна, чтоб не останавливаться на ней. Отсюда ясно, что в интересах революции в высшей степени важна концентрация студентов в тех крупных центрах политической жизни, какими являются наши университетские города, и поддержание той организованности студенчества, которая дается регулярным общением между ними в стенах высших учебных заведений. Под этим углом зрения и должен быть пересмотрен вопрос о тактике студенчества теперь, когда наряду с дальнейшим «подготовлением» революции, на очередь дня все более и более выдвигаются не посред-

ственные боевые действия народных масс».

Развивая далее ту же мысль, «Искра» писала:

«Мы должны готовиться к активным боевым действиям масс. Разумеется, и раздробленные и разбросанные по всей стране студенты могут, каждый в одиночку, принимать участие в этих массовых выступлениях и играть в них известную политическую роль. Но именно только в одиночку. Вся же сила, которая создается коллективной организованностью студенчества, идет при этом на смарку».

В этих пределах рекомендуемая «Искрой» тактика совпадала вполне с тактикой Центрального Комитета и точно так же подчинялась идее предстоящего вооруженного восстания. Но дальше в «Искре» шли предложения, которых не было в обращении Центрального Комитета.

«Студенчество вернется в университет не для того, чтобы мирно вкушать плоды подцензурной науки, а затем, чтобы своими наступательными действиями освободить науку от той цензуры, которую налагает на нее полицейское самодержавие. «Захватное право» должно воцариться в академических залах. Систематическое и открытое нарушение всех правил полицейско-университетского «распорядка», изгнание педелей, инспекторов, надсмотрщиков и шпионов всякого рода, открытие дверей аудиторий всем гражданам, желающим войти в них, превращение университетов и высших учебных заведений в места народных со-

браний и политических митингов — вот цель, которую должно поставить себе и выполнить студенчество при возвращении в покинутые им залы. Превращение университетов и академий в достойные революционного народа, — так можно кратко формулировать задачу студенчества»¹⁾).

Этот план показался мне одновременно и сложным, и неосуществимым: раз-другой, думалось мне, быть может, и удастся устроить в стенах университета народный митинг, но на этом дело неизбежно оборвется. ...

Наоборот, организация студенческих легионов и вся прочая военно-техническая программа Центрального Комитета представлялась мне вполне реальной. Сомнение вызывал лишь вопрос, целесообразно ли говорить открыто, на сходке, о подобных вещах.

Потолковав с товарищами, я убедился, что и они к искровскому плану «превращения университетов в места народных собраний» относятся весьма скептически. Советовали мне не касаться в моей речи этого вопроса, а больше настаивать на том положении, что к моменту восстания необходимо концентрировать силы студенчества в столицах и университетских городах. Этот аргумент представлялся нам неотразимым.

Настал день сходки. Опять наполнился Актовый Зал. Все в нем по старому, только портрет за кафедрой окутан серым покрывалом, будто в ва-

¹⁾ Как я узнал значительно позже, основная мысль этого плана принадлежала В. И. Засулич.

шиту от пыли, да у дверей и выходящих на корридор окон видны блестящие, свежо покрашенные ставни, — изобретенное бывшим ректором Ждановым «блиндажное укрепление», рассчитанное на то, чтобы предупредить самовольный захват зала студентами.

В толпе много курсисток, среди университетских тужурок мелькают наплечные знаки технологов, путейцев, политехников.

Состав президиума утверждается единогласно. Энгель занимает председательское место и от имени Коалиционного Совета предлагает порядок дня.

После небольшой стычки эсдаков с эсарами — не помню, по какому поводу — порядок дня принимается, и сходка переходит к вопросу о современном положении. Слово дается представителям партий.

От эсаров выступил Норский, молодой человек пижотаватого вида, с закрученными вверх усиками, в блестящем мундирчике, — но при этом превосходный оратор.

Его аргументация сводилась к двум положениям: 1) ничего не изменилось с февраля прошлого года, когда была провозглашена студенческая забастовка, и потому прекращение этой забастовки было бы бегством с поля сражения; 2) в провинции студентов ждет широкое поле работы в виде пропаганды среди крестьян, и интересы этой работы требуют, чтобы высшие учебные заведения оставались закрыты.

Я отвечал Норскому. Это было мое первое политическое выступление.

По форме, моя речь уступала речи представителя эсэров, но она больше соответствовала настроению сходки и потому имела успех.

После меня поднялся на кафедру полный, приземистый блондин в студенческом сюртуке. Его появление вызвало смех и протесты со стороны части сходки.

С большим трудом Энгель восстановил тишину. Но когда блондин заговорил о «наших национальных задачах» и о «русском национальном знамени», раздался свист, послышались крики «долой», и оратор должен был покинуть трибуну.

Я стоял подле самой кафедры, когда Энгель знаком подозвал меня и показал переданную ему из толпы записку:

«Прошу слова. Рабочий Петр.»

— Как быть? спрашивал председатель: Собственно говоря, постороннее лицо. ... А сходка — студенческая. ...

— Пусти, возразил я, дайте ему слово, как нашему гостю.

Энгель так и сделал.

Посреди шумных аплодисментов поднялся на кафедру молодой парень в высоких сапогах, в пиджаке поверх голубой косоворотки. Тонкое красивое лицо, русые волосы с пробором, движения самоуверенные, голос звонкий, как сталь.

Это был слесарь Старостин, член социал-демократической партии.

Человек смелый, решительный, с большим революционным темпераментом, и при этом страстный патриот рабочего класса, Старостин мог бы сыграть заметную роль в нашем рабочем движении,

но он промелькнул, как метеор, в 1905 г., а затем был арестован и на долгие годы сошел со сцены. Когда в 1917 году он вернулся из Сибири и вновь выплыл на поверхность движения, в нем уже трудно было узнать того молодого рабочего, который с таким блеском выступал на сентябрьских митингах. ...

Впечатление от слов Петра, — и даже не столько от его слов, сколько от самого факта появления рабочего на студенческой сходке, — было огромное. И это сказалось при вторичном выступлении моем и Норского: теперь уже не могло быть сомнения в том, что большинство на моей стороне.

Ссылаясь на прием, оказанный присутствующими речи Старостина, я призывал студенчество идти по пути сближения с пролетариатом, а заключительную часть своей речи я посвятил доказательству преимуществ нашей тактики с точки зрения различных групп студенчества: желающие могут ехать в деревню, вести работу среди крестьян, как предлагают эсары; желающие пойдут в рабочие кварталы, куда зовут их эсэды; желающие будут посещать лекции и готовиться к экзаменам; но важно, чтобы студенчество в целом подтвердило, что Университет, всеми своими силами и средствами, продолжает служить революции.

Этим закончились прения.

Сходка перешла к голосованию резолюции. Проектов было предложено много, но борьба велась лишь между эсэрами, предлагавшими бастовать до конца, и нами. В конце концов, подавляющим

⁴Войтинский,

24

большинством¹⁾ была принята наша резолюция, заключительная часть которой гласила:

«... принимая (все это) во внимание, мы, студенты Петербургского Университета, собравшись на сходку 13 сентября 1905 года, постановили:

«1) отложить об'явление забастовки вплоть до того момента, когда это будет выгодно по соображениям революционной тактики;

«2) исключительно в этих целях (т. е., в видах перехода к более действительным средствам борьбы) открыть Университет для развития в его стенах и вне их широкой работы по подготовке надвигающейся решительной борьбы;

«3) использовать все средства к усилению революционной деятельности студенчества путем устройства всенародных митингов и организации академического легиона, как одного из отрядов, примыкающих к великой армии борющегося за народную свободу рабочего класса.

«И пусть наш открытый Университет будет для самодержавного правительства еще более опасен, чем был для него Университет бастующий²⁾»).

Университетская забастовка была, таким образом, ликвидирована³⁾. Об'явив, что следующая

¹⁾ За нашу резолюцию было почтено 1702 гоч. при 243 против (сторонники царской резолюции) и 77 воздержавшихся (правые).

²⁾ Текст резолюции воспроизвожу по корреспонденции в № 20 заграничного «Пролетария». Корреспонденция отмечает между прочим: «На сходке велись жаркие дебаты между с.-р. и с.-д., почти исключительно большевиками. Да и сама резолюция определенно отвечает на вопрос, какая из фракций с.-д. была руководящей».

³⁾ В 20-х числах сентября, в связи с событиями в Москве, эсеры пытались вновь поднять вопрос о забастовке высших учебных заведений, но неудачно.

сходка будет созвана Коалиционным Советом, Энгель закрыл собрание.

Около этого времени шли сходки и в других высших учебных заведениях. Повсюду торжествовала та же тактика — прекращение забастовки в интересах революции. Кое где происходили горячие споры между представителями студенчества и профессорами по вопросу о возможности «революционного использования» высших учебных заведений. В некоторых резолюциях яснее подчеркивалась идея устройства в стенах высших учебных заведений народных митингов, но, насколько помню, нигде эта мысль не приводилась в связь с широкой кампанией, проектированной в «Искре».

А между тем, не прошло и двух недель с описанной сходки, как в высших учебных заведениях водворилось предусмотренное «Искрой» «революционно-захватное право», — началась «митинговая кампания», которой суждено было сыграть столь крупную роль в дальнейшем развитии событий 1905 года.

* * *

Митинги в высших учебных заведениях явились прямым продолжением студенческих сходок. Невинные сходки превратились в революционные митинги в результате того, что в стены высших учебных заведений, защищенные от набегов полиции указом об автономии, проникла рабочая толпа.

В небольшом числе рабочие присутствовали на студенческих сходках с самого начала, с первого дня. Я не уверен в том, что это были сплошь рево-

люционно сознательные рабочие, члены партийных организаций, — скорее, они производили впечатление людей, попавших на собрание случайно, из любопытства.

Но вскоре из случайных гостей они превратились в активных участников и фактических хозяев этих собраний.

В Университете первым из рабочих поднялся на кафедру Старостин, вторым обратился к студентам Ушаков. Это было 19-го сентября, во время сходки, посвященной вопросам академической жизни.

Ко мне подошел протискавшийся вперед человек средних лет, с русской бородкой, в сером панахионном пиджаке. Лицо у него было бледное, манеры робкие, голос тихий, почти просительный.

— Я, товарищ, от 3 000 рабочих бумагу принес. ... Если господам студентам интересно, может быть, доложите?

На листе бумаги, который он передал мне, стояла печать «С. Петербургского Общества взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве».

Содержание бумаги было таково:

До рабочих дошло, что студенты Петербургского Университета подают в Совет Профессоров заявление «с ходатайством о том, чтобы сделать Университет народным и допускать на лекции всех желающих, в особенности рабочих»¹⁾. С. Петербургское Общество Взаимного Вспомоществования

¹⁾ О таком ходатайстве в Университете не было речи. Но подобная мысль, помнится, высказывалась на курсах Лесгафта и в других высших учебных заведениях.

приветствует это начинание, как «вполне назревшее и существенно необходимое для рабочих, так как они давно уже выступили на поприще политической и общественной жизни». Заканчивалась бумага заявлением, что «рабочие, со своей стороны, готовы посещать лекции, предназначенные для них по содержанию и по духу времени». Внизу стояла подпись председателя Общества: Ушаков, — имя, ничего мне не говорившее.

В восторге от этого обращения рабочих, я немедленно передал бумагу Энгелю, и наш председатель громогласно прочел ее целиком — от обращения к «т. г. студентам» до подписи. Сходка встретила заявление Общества Взаимного Вспомоществования рукоплесканиями. Человек, от которого я получил бумагу, горячо благодарил меня за оказанное ему содействие.

Но только отошел он от кафедры, как ко мне подскочил один партийный товарищ:

— Вы знаете, кто это разговаривал только что с вами?

— Нет.

— Это Ушаков!

— Ну, да, Ушаков, председатель общества рабочих. Что же с того?

— А то, что это опасный провокатор. Гнать его в шею следует, из окна выбросить, а не бумаги от него принимать, да сходке докладывать!

Но дело было сделано. Раз'яснить публично происшедшее недоразумение, значило бы увеличить скандал, — и мы ограничились тем, что решили впредь быть осторожнее.

• зубатов

26

Отметчу, что Ушаков не был провокатором охранником вульгарного типа. Это был последний полицейского социализма Зубатова. В революционные организации он не лез, так что едва ли охранка могла пользоваться им, как осведомителем. Его «Общество» действовало, главным образом, среди рабочих Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг, поддерживая здесь дух умеренности, аккуратности и чинопочитания.

Я встречался с этим человеком два раза: первый раз на сходке, второй раз в квартире приват-доцента В. Святловского. Оба раза Ушаков казался мне маленьким пришибленным человечком. А между тем, ему суждено было сыграть крупную роль в судьбах России, — и на эту его роль лишь недавно пролили свет «Воспоминанья» гр. Витте, который видел в Ушакове «лидера рабочей партии» и весьма выдающегося человека.

По рассказу Витте, именно Ушаков накануне 17 октября сумел убедить великого князя Николая Николаевича в необходимости для России конституции, и при том так основательно внушил эту мысль царскому дяде, что тот отправился к царю и угрозой застрелиться на его глазах заставил Николая II подписать знаменитый манифест (см. *Mémoires du Comte Witté*, стр. 219—220).

Я оставляю, разумеется, эту историю на ответственности Витте и тех, на чьи показания он ссылается — П. Дурново и барона Фредерикса. Об Ушакове упомянул я лишь для того, чтобы отметить, кто первым конкретно поставил вопрос об устройстве в Университете специальных собраний для рабочих.

По собственной ли инициативе действовал в данном случае Ушаков, или по предписанию начальства, я не знаю, но, во всяком случае, именно после его заявления сходка постановила устраивать по вечерам рефератные собрания на политические темы для рабочих, — и это было первым шагом в сторону превращения Университета в открытую политическую трибуну.

Дальнейший шаг в этом направлении мы сделали под влиянием нового выступления Старостина. Молодой слесарь, гордый своим успехом на первой сходке, с тех пор посещал все собрания в Университете. И вот, в разгар прений по какому-то специально-студенческому вопросу — чуть ли не о предметной системе — он потребовал себе слово и обрушился на студенчество:

— Что же вы делаете, товарищи? Открыли Университет для революции, а на самом деле, Бог знает, чем занимаетесь. Все пустяки какие то. в которых мы, рабочие, и понять то ничего не можем. Мы, рабочие, вас за товарищей считаем, и всегда хотим вместе с вами идти, до полной победы или до смерти в борьбе!

Во время немного несуразной речи молодого слесаря студенчество чувствовало себя в чем то виноватым перед ним и перед его товарищами — героями 9-го января.

Старостина прерывали аплодисментами, криками «правильно», «верно». Когда он кончил, председатель счел необходимым благодарить его от имени собрания.

Тут же было решено немедленно приступить к устройству намеченных еще 19-го сентября

вечерних политических собраний для рабочих. Это решение было принято не как новый тактический шаг, а скорее как мера технического характера, как средство внести больший порядок в жизнь Университета.

Ибо в Университет — так же, как и в другие высшие учебные заведения Петербурга — уже ворвалась революционная «улица». Предвидели мы, или нет, такой способ «использования» указа 27-го августа об автономии, но «посторонние», то есть рабочие в конце сентября уже составляли на студенческих сходках чуть ли не большинство. Необходимо было назначить для них особые часы, ибо иначе не только студенческие сходки, но и учебные занятия в Университете сделались бы, в конце концов, невозможны.

Сперва казалось, что вечерние собрания не приются: не было подходящих лекторов, речи не клеились, в полупустых залах было скучновато. Но затем рабочие толпами повалили на митинги, и в высших учебных заведениях началась новая жизнь.

* * *

С первого взгляда, наши митинги производили впечатление беспорядочных сборищ.

Не было ни порядка дня, ни регламента. Известно было, кто и о чем будет говорить. Слушатели не знали, кто такие сменяющиеся на трибуне «товарищ Леонид», «товарищ Абрам», «товарищ Макар», «товарищ Николай», «товарищ Сергей». Равным образом и ораторы не знали, откуда собрались теснящиеся вокруг трибуны люди.

В течение нескольких недель на мне лежало «заведывание» митингами в Университете, — то есть, распределение помещений и забота о том, чтобы во всех аудиториях было достаточно ораторов. Каждый вечер приносил неожиданности.

Вдруг, в разгар митинга, подходит кучка молодых людей в котелках:

— Товарищ, не откажите распорядиться пасчет приказчиком.

— Каких приказчиков?

— С Васильевского Острова. К 9 ч. в Университете назначено нам собраться.

— А много вас будет?

— Если все придут, тысяч двадцать наберется... Да только все не придут... Так что, надо считать, пять тысяч будет...

— Берите вот эту аудиторию. Поставьте человека у двери. Патруль в коридоре... Двух человек вниз, на лестницу... Направляйте всех ваших сюда.

— наших в большом зале порядочно уже набралось. Как бы их оттуда вызвать?

Отправляюсь в Актовый Зал.

— Товарищ приказчиков Васильевского Острова просят в 12-ую аудиторию.

В толпе движение. Откынули от кафедры, двинулись к дверям. Председатель обращается ко мне:

— Да здесь большинство — приказчики.

— А вы пробаллотируйте.

Баллотировка показывает, что приказчики составляют $\frac{3}{4}$ собрания. Решаем предоставить им

Актный Зал, а смешанную публику перевести в соседнюю аудиторию.

В другой раз также неожиданно узнаем о прибытии целого завода: утром по мастерским сговорились идти всем в Университет, и вот пришли тысячной, дружной толпой.

Однажды появились в Университетском коридоре странные фигуры: в длинных армяках, в валенках, в рукавицах, в меховых шапках, с кнутами в руках. Извозчики!

Их обступили, принялись расспрашивать, как они сюда попали. Извозчики объясняют словохотливо:

— Мы у Тучкова моста стояли. Сколько раз видели, в университете огни горят, и народ собирается, вроде как в театр. А сегодня барин один объяснил: туда, говорит, без билетов пускают, ступайте, говорит, и вы, — послушаете, как царя ругают.

Немедленно откомандировали одного студента к извозчикам — сопровождать их и объяснять непонятные слова в речах ораторов. Извозчики остались очень довольны оказанным им приемом и тем, что слышали, и лишь жалели, что не могли побыть на митинге подольше, — боялись за пролетки, оставленные на Университетской линии.

Столь же неожиданно нагрянули в Университет гимназисты и гимназистки. Мы отвели им аудиторию и предоставили им самим охранять двери от «посторонних». Спустя полчаса к нам прибыла делегация гимназического митинга: просили дать им «партийных ораторов».

С каждым днем все больше становился наплыв посетителей.

Стало тесно и в Актном Зале, и в аудиториях.

И вот, в один прекрасный день, поднялся на кафедру рабочий — кажется, все тот же неутомимый Старостин — и обратился к собранию с такой речью:

— Мы, рабочие, сюда за десять верст идем, через весь город лупим, а приходим, — оказывается, места нет. Как же мы этак революцию сделаем? Очень на это товарищи обижаются. Другой иностранных слов не понимает, да еще у двери стоит, так даже и не разберет, о чем товарищ оратор говорит. Раз он пришел, другой раз пришел, а в третий раз его на митинг и не заманишь... Правильно, я говорю, товарищи?

— Правильно!

— А между прочим, здесь много товарищей студентов. Им митинги не так нужны, как нам, рабочим. А к тому же, они и по утрам собираются, а нам, рабочим, только и возможно, что вечером. Значит, будем просить товарищей студентов по вечерам в Университет не приходить, кроме тех, которые ораторы.

Многим студентам это предложение показалось неуместным. Иные почувствовали себя не на шутку обиженными. Но с этого дня на вечерних митингах студенты почти не появлялись, — приходили лишь партийные — те, что должны были выступать с речами или несли обязанности распорядителей.

А в некоторых высших учебных заведениях, как мне передавали, прямо было постановлено: в виду

недостатка мест, студентов и куренсток на митинги не допускать.

В начале октября состав митингов выровнялся: это была почти сплошь рабочая масса, преобладали фабрично-заводские рабочие с окраин.

Ораторы, выступавшие на митингах, делились на две резко отличные группы: постоянные ораторы, выступавшие изо дня в день; и ораторы случайные, появлявшиеся неведомо откуда.

Среди постоянных ораторов наиболее значительную группу составляли социал-демократы большевики: меньшевики и эсеры мобилизовали свои силы несколько позже¹⁾.

Темы речей были довольно разнообразны. Комментировали газетные сообщения о развитии революционного движения в России. Разъясняли партийную программу — целиком и по пунктам. Говорили об Учредительном Собрании, о профессиональном движении на Западе, о 8-часовом рабочем дне.

С большим интересом ловила толпа рассказы о прошлом революционной борьбы в России, — первым избрал эту тему эсер, выступавший под кличкой «Монтер», — один из лучших ораторов университетских митингов²⁾. Были попытки превратить митинговую речь в популярную лекцию на ту или иную историческую или политическую тему. Эти попытки встречали со стороны рабочей толпы большое сочувствие. Но, к сожалению, у партийных

¹⁾ Если не ошибаюсь, меньшевистская работа в Петербурге была в то время ослаблена большими провалами, связанными с деятельностью провокатора «Николая-Золотые Очки» (Доброскока).

²⁾ Это был Евгений Колосов.

ораторов не было ни достаточной подготовки, ни сил, чтобы удовлетворить страстную жажду знания слушателей. А те, кто мог бы в этом деле прийти им на помощь, отвернулись от митингов, испугавшись их внешней сумбуражности.

Эта сумбуражность создавалась, главным образом, выступлениями случайных ораторов. Их речи не всегда нравились толпе, порой даже вызвали выражения нетерпения.

Помню, как то раз, в Военно-Медицинской Академии говорил молодой рабочий. Говорил он о том, что рабочим живется тяжело, что зарплата не хватает, что расценки несправедливые, что мастера ни с чем не считаются. Говорил с искренностью глубоко обиженного человека, со слезами в голосе. А слушали его холодно, невнимательно. И в самом патетическом месте его прервал чей-то насмешливый голос:

— Ты, Степка, и в заводе довольно наговорился. Ты бы теперь помолчал: пусть другие говорят, которые побольше твоего знают!

Степке так и не пришлось кончить речь.

Порой очередной оратор-рабочий заявлял собранию:

— Товарищи! Я вам свой стих прочитаю. Моего сочинения. Об нашей жизни... Очень хороший стих.

Стихи всегда были наивные, неумелые, но искренние, проникнутые горячим чувством).

³⁾ Почему то со стихами выступали почти исключительно ремесленные рабочие, типографчики, приказчики. Фабрично-заводских поэтов на сентябрьских митингах я не помню.

30

Появлялись на митингах и совсем фантастические личности. Большим успехом пользовался высокого роста старик с седой бородой во всю грудь. Он носил под армяком бутафорский меч и говорил вычурно по старинному.

— Хотите знать, чего хочет народ? обычно начинал он свою речь: Все, чего хочет народ, здесь написано. Слушайте!

И вытащив из-за пазухи лист бумаги, он читал, отчеканивая каждое слово:

«... И чтобы не было ни дворян, ни мещан, а одни горожане...»

«... И чтоб выбрать всем от тысячи купцов одного купца, и от тысячи попов одного попа, и от тысячи генералов одного генерала, и от тысячи солдат одного солдата, и от тысячи мужиков одного мужика, — и как положат они, так и быть по сему».

Или подымет над головой свой бутафорский меч и, потрясая им в воздухе, провозглашает:

— Эту острую мечь дал мне народ, чтобы поразить врагов его, главного змея и змеенышей....

Повидимому, это был просто сумасшедший. Называл он себя «Отец Юпитер».

Однажды, после окончания митинга, он остановил на лестнице толпу и заставил повторять за собой:

— Долой царя! Долой Бога! Долой чорта!

В смысле политическом митинговая кампания осени 1905 г. сводилась к расплывчатому лозунгу «борьбы с самодержавием».

Правая пресса уверяла, будто на митингах провозвещалась анархия. Это чистейший вадор. Анархисты выступали редко и, большей частью, без успеха: их нападки на буржуазную рес-

публику принимались толпой, как косвенная защита самодержавия. Однажды я был свидетелем того, как рабочие свистами и враждебными криками отвечали на горячую и искреннюю речь старушки-анархистки. Сама старушка считала свою речь архи-революционной, и она никак не могла понять, почему так враждебно встречает ее революционная толпа. Со слезами обиды на глазах она кричала рабочим:

— Я — колымская! Я — колымская!

Но рабочие не знали, что эти два слова говорят о долгих годах борьбы и страданий этой седой, сгорбленной женщины, не признающей ни монархического, ни республиканского строя. Они думали, что старушка просто повторяет свою фамилию, и смеялись...

Я хочу подчеркнуть еще одну особенность этих митингов: в них не было демагогии и почти не было исхомики между революционными партиями. И в том, и в другом отношении они были выше, чем заводские митинги последовавшего периода. Да и вообще, я никогда и нигде не видел народных собраний, где царил бы такой энтузиазм, где так ярко горел бы огонь идеализма, как на наших сентябрьских митингах.

И теперь, спустя много лет, я не могу вспомнить без волнения эту толпу, — наивно восторженную, верящую в свое революционное призвание, готовую на все жертвы, полную безграничной жажды знания.

* * *

В самом начале митинговой кампании большевистская организация приняла меры, чтобы, по

31

возможности, упорядочить ее и подчинить директивам центра. Была образована при Петербургском Комитете «коллегия митинговых ораторов». Сперва в ней было человек 10 или 12, но постепенно ее состав пополнялся новыми силами, — частью районными работниками, частью товарищами, приезжавшими в Петербург из провинции.

«Коллегия» была у всех на виду, работа ее была живая, интересная, эффектная, охотников вступить в нее было много. Не было отбою и от девиц, предлагавших нам свои услуги для секретарской работы.

Представителями Петербургского Комитета при коллегии были Радин-Кнунианц (носивший тот же псевдоним, что и я, — Сергей Петров) и «тов. Антон» (Красиков).

Кнунианц, — талантливый, остроумный, всегда веселый, всегда приветливый — пользовался общими симпатиями. Но на нем лежало много другой работы, и он появлялся у нас лишь мельком.

Постоянное око Комитета представлял собою «тов. Антон», — человек откровенно невежественный, весьма ограниченный, самсуверенный и горький пьяница. Импонировать никому из нас он не мог, и это явилось одной из причин появления в коллегии духа оппозиции по отношению к Комитету. Усилению этого настроения способствовало и то, что все мы, в большей или меньшей степени, были опьянены шумом аллодисментов и «блеском» ежедневных выступлений.

Впрочем, Комитет быстро сообразил, что в создавшейся обстановке нельзя третировать «митинговых ораторов», как какую-нибудь районную кол-

легию агитаторов. За нами была признана известная автономия. «Тов. Антон», — очевидно, получив соответствующие директивы из центра, — рассыпался перед нами в комплиментах, неустанно подчеркивая исключительную ценность нашей работы для партии.

В конце концов, «ораторская коллегия» получила в жизни петербургской партийной организации такой вес, что могла, пожалуй, по своему влиянию, конкурировать с Петербургским Комитетом.

Ядро коллегии составляла тройка: Николай (Коновалов), Абрам (Крыленко) и я.

О Николае я хочу сказать здесь несколько слов.

В моей памяти с периодом митингов, к которому я подхожу, неразрывно связана эта характерная фигура, — черная куртка, широкий жест, бледное лицо, звенящий голос, резкие, рубленные фразы.

Не знаю точно, откуда он явился. Иногда он называл себя рабочим, иногда говорил, что до первого ареста был учеником какого-то технического или ремесленного училища. В социал-демократическую партийную организацию он вступил еще в 90-х годах. Несколько лет просидел в самарской тюрьме, в одиночке. Кажется, побывал и в ссылке. Летом 1905 г. вел партийную работу где-то на юге или на Волге, в сентябре приехал в Петербург.

Обладая подлинным ораторским талантом, даром зажигать толпу, он был одним из наиболее заметных деятелей петербургского движения конца 1905 г., а в последующие годы остался одним из главных руководителей местной большевистской организации.

Трагическое пятно! В 1910 г. Николай по-

Б. Войтинский.

кончил с собой, повесился в своей комнате, не оставив никаких объяснений своего рокового решения. Перед этим он сильно пил, но не оставлял партийной работы. Петербургские рабочие устроили ему торжественные похороны, многотысячная толпа шла ва его гробом.

А в 1917 г. стало известно, что Николай был агентом Охранного Отделения...

Не знаю, что было в душе этого человека в сентябрьские дни, когда я впервые встретился с ним. Был ли он уже в эту пору охранником, или лишь позже пошел на позорное дело? И если уже в 1905 г. он был предателем, то что двигало им? Выполнял ли он указания своего начальства, стараясь революционизировать студенческие сходки и создать предлог для вмешательства полиции? Или, подчиняясь импульсам своей авантюристской натуры, он вышел из рамок поставленной ему задачи? Или он пытался в то время вырваться из сетей, в которых держали его жандармы, и страсть, ввучавшая в его речах, вытекала из чувства бесконечного унижения и из ненависти к тем, кому он служил?

Не буду останавливаться над загадками этой темной души¹⁾...

¹⁾ В истории Николая многое представляется темным и необъяснимым. Не подлежит сомнению, что выдавал он не всех, с кем соприкасался, и не все, что знал. Так, например, он знал участников нападения на черносотенцев за Невской вставой в трактире «Тверь», в конце января 1906 г. — и, если не ошибаюсь, сам участвовал в этом нападении, очистившем Невский район от черной сотни. Участникам этого дела неминуемо грозила смертная казнь, но никто из них не был арестован.

Выдающимся митинговым агитатором был Абрам. Говорил он горячо, образно, красиво и умел подымать настроение толпы.

Часто и с постоянным успехом выступал на митингах тов. Макара. Первое время он, в видах конспирации, пользовался накладными усами. Но рабочие сразу узнавали его по крупному носу и говорили о нем: «Усы что день, то другие, а нос все тот же». За ним установилась даже кличка «Макара с носом».

Хорошими ораторами были Борис (Моносзон) и студент Коротков, получивший за высокий рост и монументальное сложение кличку «Спина».

Немного позже вошел в нашу коллегию прибывший из Москвы «тов. Петр», — Алексинский. Говорил он с большой силой, порой с юмором, всегда прекрасным народным языком. Его пронзительный, свистящий, немного картавый голос, резкий жест, неожиданные «словечки» — электризовали толпу. В нашей коллегии он занял несколько обособленную позицию, на крайнем левом фланге; уличал всех петербургских работников в отсутствии революционности, в дряблости, нерешительности, трусости. Само собой разумеется, петербуржцы давали ему надлежащий отпор, и Петр не приобрел в коллегии того влияния, на которое претендовал.

Было в ораторской коллегии человек десять молодых работников; которые выступали всегда с кемнибудь из более опытных, «старших» товарищей — к числу «старших» принадлежал, между прочим, и я, хотя мне шел тогда всего лишь 20-ый год.

Больше всего я любил выступать с Евгением

(А. Липткенсом) — покровным, горячим и талантливым юношей, позже трагически погибшим. Мне еще придется говорить о нем.

Работала коллегия дружно и изо всех сил. А работа была тяжелая: были дни, когда приходилось выступать 5—6, а то и 9—10 раз.

Наша постоянная явка была в столовке при Университете.

Помню, как то, перед октябрьской забастовкой, встав утром, я почувствовал, что у меня совершенно пропал голос. Пробую говорить — вылетают звуки задущенного шопота. Крайне расстроенный, пошел я на явку. Встречаю там Леонида, — у него тоже же несчастье. Приходит Абрам, — и он хрипит. Собрались остальные товарищи, почти все жалуются на горло.

Тогда я предложил: организуем забастовку митинговых ораторов, предъявим Петербургскому Комитету экономические требования, — 8 часовый рабочий день и стакан гоголя-моголя после каждой речи!

Предложение имело успех, и Антон не на шутку перепугался, когда подсчитал, сколько яиц потребуются Комитету, чтоб удовлетворить выпешую из повиновения ораторскую коллегия.

«Пробастовали» мы, потерявшие голос агитаторы, целые сутки. А затем голос вернулся, и мы могли выступать, не думая о 8-часовом рабочем дне и не мечтая о гоголе-моголе, — хорошо было, если в зале оказывался графин с водой, чтоб промочить горло!

33

Работа была волнующая, спяняющая. Все время — в охваченной энтузиазмом толпе, все время — во власти ее настроений, ее дум, ее воли.

Я чувствовал в эти дни, что, быть может, мы в состоянии сообщить рабочей толпе обрывки не достояющих ей знаний, но не в силах вести ее, управлять ее движениями. Чувствовал, что мы не вожди революционной толпы, а ее глашатаи.

Эту мысль я не раз развивал в нашей коллегии. Товарищи почти все так же смотрели на дело. Впрочем, от комитетчиков постарше мне пришлось слышать суровый отзыв, что все это — «декадентщина»: для них масса представляла собой бесформенную стихию, а мы были носителями „революционной сознательности“, призванными не только направлять толпу, но и управлять ею.

* * *

Порой приходили на митинг люди из чужого круга. На них непонятная им толпа производила впечатление какой то дикой, разрушительной силы.

Я расскажу здесь о приеме, который был оказан нами одной группе таких гостей.

В университетской столовой я встретился как то с корреспондентом лондонского «Times»'а. Он принялся расспрашивать меня о социалистических партиях. Незаметно с вопросов общего программного характера он перешел к конкретным вопросам:

— Как относится ваша партия к Павлу Николаевичу?

— Как относитесь вы к внешним долгам России?

— Что думаете вы о проектируемом новом займе?¹⁾

Последний вопрос заставил меня насторожиться: в то время в Петербурге ходили слухи, будто правительство втихомолку ведет переговоры с американцами о внешнем займе, который дал бы ему возможность ликвидировать последствия дальневосточной войны и подавить смуту. Передавали, что переговоры начал Витте во время своей поездки в Портсмут, и что для окончания этих переговоров в Петербург приехала группа американских банкиров с сыном или представителем известного миллиардера Моргана во главе. Именно присутствием в Петербурге американских финансистов объясняли, почему правительство — в частности, петербургский генерал-губернатор Трепов — смотрит сквозь пальцы на революционные митинги в высших учебных заведениях. Высказывали предположение, что все изменится, лишь только переговоры закончатся и американцы уедут из Петербурга.

Итак, я не мог не заинтересоваться вопросом англичанина об отношении социалистов к предполагаемому займу. Я ответил ему, что не знаю, обсуждался ли этот вопрос в партийных центрах, но не сомневаюсь в одном: победоносная революция не будет платить по займам, заключенным ее врагами для ее подавления.

¹⁾ Я играл в партии весьма скромную роль. И обращение корреспондента с этими вопросами ко мне объясняется, я думаю, тем, что в Англии на митингах выступают обыкновенно партийные лидеры. Мой англичанин, посещая митинги и встречая постоянно определенных лиц на трибуне, пришел, повидимому, к совершенно ошибочным заключениям об их весе в движении. В частности, он не знал, как строго разделялись у нас функции агитатора, организатора и т. д.

— Как? изумился англичанин: Вы не будете платить по займам? Но ведь это нечестно! Тогда вам впредь никто не будет верить!

Я ответил, что экспроприация земель передаст в руки революционного правительства такие материальные средства, что оно не будет нуждаться ни в каких займах.

Англичанин поблагодарил меня за сообщение, обещал телеграфировать в «Times» содержание нашей беседы и затем прибавил конфиденциально:

— Один из моих американских друзей был бы рад встретиться с вами и поговорить о вопросах, о которых мы только что с вами беседовали.

Условились встретиться на квартире корреспондента. Встреча произошла дня через три или четыре (в этот день, как раз, пришел № «Times»¹⁾ с воспроизведением нашей первой беседы под заголовком «The revolution openly preached in University»). Другой корреспондент оказался молодым человеком с белокурой бородкой, с голубыми глазами, с энергичными, самоуверенными манерами.

Разговор велся по-английски. Молодой человек быстро кидал вопросы и записывал мои ответы. Покончив с вопросом о займе, он спросил меня:

— Считают ли республиканские партии, что за ними большинство населения?

— Несомненно!

— Но ведь крестьяне за даря! Да и рабочие тоже! Вот и ваши митинги! Мне говорили, что на них выступают студенты, анархисты, республиканцы, но масса граждан им не сочувствует.

Тогда я предложил ему:

¹⁾ „Революция открыто проповедуемая в университете“

— Чтобы проверить добросовестность тех, кто рассказывал вам эти басни, приходите в Университет на митинг.

— Это можно? Я принял бы приглашение за себя и за трех моих коллег... Нас не убьют?

— Гарантирую вам полную безопасность. Приходите в Университет завтра, в 9 часов вечера. Вызовите меня, — я провожу вас дальше.

— Хорошо.

Я рассказал о своей беседе с американцем Николаю и Абраму, и мы условились, о чем говорить при гостях.

В начале 10-го часа, когда митинг в Актовом зале Университета был в полном разгаре, мне передали записку: «Гов. Войтинского просят вниз».

В вестибюле меня ждали американцы. Щегольски одетые, в широких пальто, в светлых перчатках, они были центром всеобщего недружелюбного внимания со стороны рабочих и, повидимому, чувствовали себя неважно под перекрестным огнем насмешливых замечаний, которые корреспондент «Times»'а вполголоса переводил им.

Поздоровавшись с гостями, я повел их к приготовленным для них местам, — в оконной нише подле кафедры. Председатель, как было условлено заранее, предоставил мне слово. Речь моя прошла без инцидентов. Следующим выступал Николай. Он говорил, повернувшись лицом к раме царского портрета, уничтоженного студентами в феврале, говорил, будто бы обращаясь к «богопомазанному убийце» от лица собравшейся толпы. Речь его прерывалась аплодисментами, криками, угрозами по адресу царя.

Когда он кончил, на кафедре появился Абрам. Продолжая речь предыдущего оратора, он говорил:

— Этот царь, проклинаемый своим народом, ищет опоры за океаном. Через своего лакея Вигте он обратился к американцам, и те готовы дать ему денег для борьбы с революцией...

— Долой Америку! несется из толпы.

Оратор продолжает:

— Царский трон будет сметен волной народного гнева, и тогда американские миллионеры обратятся к восторжествовавшей революции за процентами на капитал, который они ссудили царизму. Что мы им ответим, товарищи?

Из толпы неслись крики, каждый предлагал свой ответ американским кредиторам...

Американцы, стоя на стульях в отведенной для них нише, с напряженным вниманием следили за ходом митинга. Корреспондент быстрым шопотом переводил им и речи, и возгласы. Молодой человек с голубыми глазами обратился ко мне:

— Я думаю, этого довольно. Проводите нас, пожалуйста.

Мы двинулись к выходу через всю толпу, — я спереди, за мною гуськом американцы, в арьергарде — корреспондент «Times»'а. Так выбрались на лестницу. Наши гости были потрясены виденным и слышанным и лишь повторяли:

— Dreadful! Dreadful! (Ужасно! Ужасно!)

Горячо благодарили меня за полученные сведения о настроении рабочих. Вместе с ними я вышел на улицу. Сваруки Университет представлял жуткую картину. Нижний этаж погружен во мрак. Окна второго этажа ярко освещены. И в каждом окне

30

черные сплузты людей, одни неподвижные, другие волнующиеся, машущие руками. Из открытых форточек клубами валит пар, будто дым над зданием, охваченным пожаром. Несется смутный гул голосов, прерываемый взрывами криков и рукоплесканий. По полутемной улице движутся тени, — все в одном направлении, к главному входу Университета.

— Dreadful! Dreadful! повторяли американцы.

Затем принялись расспрашивать меня:

— Это у вас часто бывает?

— Почти каждый день.

— Почему в Университете?

— Не только в Университете. Во всех высших учебных заведениях вы увидите ту же картину.

Мимо нас пробежал по набережной знакомый студент. Я окликнул его:

— Вы куда?

— В Академию Художеств, на митинг. Там хоть нашего брата не выставляют за двери.

— Вот это кстати!..

И я предложил американцам:

— Хотите, для полноты впечатления, посетить еще Академию Художеств, Высшие Женские Курсы, какой-нибудь Институт?

— Пожалуй, Академию...

— Так вот, товарищ, проводите этих господ, позаботьтесь, чтобы их никто не обидел, и покажите им все интересное.

— С удовольствием!..

На другой день корреспондент «Times»'а разыскал меня и снова долго и горячо благодарил от имени своих американских друзей.

Кто были эти американцы, я и теперь не знаю. Не знаю, имели ли они какое либо отношение к той группе американских финансистов, о которой ходило столько слухов в Петербурге. Во всяком случае, я далек от утверждения, что наш университетский митинг мог оказать решающее влияние на исход переговоров о займе...

Я привел этот случай просто, как пример того, какое впечатление производили сентябрьские митинги на людей, приходивших на них с убеждением, что «бунтуют» лишь студенты и интеллигенция, а рабочие, как и весь русский народ, — за царя.

* * *

Особенностью описываемого «митингового периода» в Петербургском Университете было то, что в течение него академическая жизнь протекала почти без потрясений: между революционными и умеренными элементами студенчества, так же, как между студенчеством в целом, с одной стороны, и профессурой, с другой, выработалось молчаливое соглашение на основе принципа — не мешать друг другу.

Фактически Университет был в руках небольшой группы студентов-революционеров, но эта группа не мешала беспартийным, умеренным студентам учиться и готовиться к экзаменам. Что касается до профессоров, то для них основным вопросом было — не допустить засилья революционных элементов над внутренней академической жизнью Университета. Вопрос же о том, что творится в университетских стенах во внелекционное время, представлялся для них сравнительно второстепенным. Поэтому профес-

37

сора с самого начала решили дать бой революционным руководителям студенчества на вопросах академической жизни. Если бы мы приняли бой на этой почве, конфликт между студенчеством и профессурой обострился бы и, по всей вероятности, привел бы к закрытию Университета. Но вышло так, что мы сразу признали правоту профессоров в вопросах, которым последние придавали наибольшее значение, и в которых их правота была, в самом деле, несомненна, — и это обезоружило профессорскую оппозицию.

Я должен прервать здесь рассказ об университетских митингах, чтобы остановиться на этом эпизоде и вообще на академической жизни Петербургского Университета в конце 1905 г.

Прекращение забастовки поставило перед студенчеством ряд академических вопросов. Большая часть этих вопросов была разрешена на сходке 19-го сентября, на той самой сходке, к которой обращался Ушанов.

Здесь были приняты постановления: об отмене формы, о передаче в руки студентов заведывания столовой и бюро по приисканию мест, о создании выборного института старост, как посредствующего звена между студентами, с одной стороны, и ректором и Советом Профессоров, с другой стороны, и т. д.¹⁾ По вопросу об условиях приема в Университет сходка постановила:

«Мы требуем:

1) Между прочим, здесь же было решено из названия Университета вычеркнуть слово «Императорский», но это постановление не получило дальнейшего движения. Начальство глумилось, будто забыло о нем, а мы к нему не возвращались, чтоб не обострять без нужды положение.

«1) немедленного уничтожения % - ной нормы для принятия в Университет евреев...

«2) немедленного открытия доступа в Университет женщинам;

«3) немедленного открытия доступа в Университет всем окончившим средние учебные заведения или 4 класса семинарии, а также работающим на пользу просвещения народа и желающим расширить свое образование;

«и 4) немедленной отмены правил об округах».

Тогда же было решено:

1) предложить совету профессоров пригласить на профессорские кафедры Аничкова, Кареева, Исаева, Миллюкова, Спасовича, Туган-Барановского, Ходского, Струве;

2) подвергнуть «активному бойкоту» профессоров Ждавова, Коновалова, Георгиевского и еще нескольких других, имен которых я не помню, — всего около 10 человек из числа наиболее «правых».

Оба списка — пригласительный и «прокрипционный» — составились, в значительной части, случайно, из имен, которые выклипались кем либо из студентов и подхватывались сходкой.

Для переговоров с профессорами по существу принятых решений была избрана комиссия, в которую вошли Энгель, Каплан и я. Совет Профессоров назначил, со своей стороны, для переговоров профессоров А. Покровского, И. Гревса и Эрвина Гримма. Помнится, присутствовал при переговорах и Л. И. Петражицкий.

Когда мы прочли профессорам нашу резолюцию об изменении условий приема в Университет, А. Покровский резко спросил нас:

— Что значит ваше «требуем»? Что значит четыре раза повторенное «немедленно»? К кому обращен ваш ультиматум? к Совету Профессоров? Но имеете ли вы право так разговаривать с нами?..

Мы были смущены, так как нам в голову не приходило, что профессора могут обидеться на нашу резолюцию, повторяющую, собственно говоря, требования Академического Союза. Посоветовавшись между собою, мы заявили, что признаем форму нашей резолюции не отвечающей новому положению автономного Университета, но просим профессоров верить, что сходка не имела намерения обидеть их.

Этим инцидент был исчерпан, и мы перешли к следующему вопросу, к приглашению в Университет прогрессивных профессоров. Оказалось, что профессора чувствуют себя оскорбленными и этим постановлением сходки.

— Замещение кафедр путем случайного поднятия рук толпы унижает профессорское звание, заявили они нам: Мы вашего списка не принимаем, так как не можем признать за митингом компетенцию определять научные заслуги того или другого профессора.

Мы возражали, что до сих пор состав профессуры фальсифицировался министерством и полицией, и что студенчество добивается лишь одного: чтобы в автономном Университете были уничтожены последствия этих, действительно, унижительных для профессорского звания и для Университета влияний.

Тогда проф. Покровский проницательно заметил:

— Вы, господа, вероятно, справились о взгляде ваших кандидатов на право студенческой сходки вмешиваться в назначения профессоров? И вы, конечно, не сомневаетесь в том, что П. Н. Миллюков

и П. Б. Струве с благодарностью примут кафедру из ваших рук?

Пришлось отступить и в этом вопросе. И эта неудача не очень располагала нас к постановке вопроса о «проскрипционном» списке. Но пр. Покровский сам поднял этот вопрос:

— Мы знаем из газет, сказал он, что ваша сходка 19-го сентября выработала «проскрипционный список» — недурное название! — неугодных профессоров. Мы ждем от вас официального сообщения об этом списке.

Энгель прочел список подлежащих бойкоту профессоров. Покровский спросил нас:

— За что осуждены эти лица, напр., пр. Жданов?

— За его деятельность в качестве ректора. В частности, за попытку превратить Университет в полицейский форт с блиндированными дверями и окнами.

— А за что осужден пр. Георгиевский?

— За то, что он подавал в Охранное Отделение доносы на своих коллег.

— Вы в этом уверены? Сколько раз подавал он доносы?

— Тринадцать раз.

— Видите, господа, как легко обмануть вас! Ведь тот, кто дал вам эти сведения, либо клеветник, либо охранник. Чтобы сосчитать доносы Георгиевского, он должен быть своим человеком в Охранном Отделении. А если он не охранник, то откуда у него эта цифра — тринадцать?

Я ответил:

— Сведения о пр. Георгиевском сообщены нам лицом, в добросовестности которого мы не могли сомневаться. Так как вы заявляете сомнения в точ-

ности этих сведений, то мы потребуем исчерпывающих доказательств.

— А если эти доказательства не будут представлены?

— Тогда пр. Георгиевский будет реабилитирован, а его обвинитель будет объявлен клеветником.

— А нельзя ли узнать, кто этот обвинитель?

Обвинителем Георгиевского был приват-доцент по кафедре политической экономии В. В. Святловский, человек довольно бездарный, но старавшийся играть роль в Университете, всячески искавший популярности среди студентов и в этих видах заявлявший себя крайним радикалом и даже «почти марксистом»: он лично мне сообщил о доносах Георгиевского и горячо настаивал на необходимости включения этого профессора в «проскрипционный список».

Первым моим движением было назвать приват-доцента-обвинителя, но Каплан и Энгель удержали меня. Да Покровский и не настаивал на своем вопросе. Он разразился пламенной речью против нашего решения в целом:

— Ваша резолюция — насилие над совестью... Вы берете на себя функции охраны, выбрасывая из Университета тех, чьи убеждения вам не по вкусу. Вы прибегаете к суду Линча, к самосуду толпы... Вы не решились выслушать обвиняемых, не сообщили им, в чем их обвиняют... Вы вынесли решение оглулом о десяти лицах сразу, не потрудившись расследовать виновность каждого в отдельности.

В заключение профессор спросил нас:

— Скажите, господа, по совести, можете ли вы утверждать, что при составлении вашего «проскрип-

ционного списка» были соблюдены требования процессуальной справедливости?

Я ответил:

— По совести, эти требования нами соблюдены не были.

Энгель присоединился к моему заявлению.

Тогда Покровский сказал:

— Я рад тому, что мы с вами стоворились. Это поможет вам понять наше решение: если вы не откажетесь от вашего «проскрипционного списка», если хоть против одного профессора будет применено насилие, которое вы называете «активным бойкотом», то Совет Профессоров, согласно принадлежащему ему праву, немедленно откроет Университет. Это решение наше бесповоротно.

Мы смогли противопоставить этому решению лишь одно возражение:

— Вы ссылаетесь на несостоятельность решения сходки 19-го сентября. Мы признаем справедливость ваших указаний. Но в применении к некоторым профессорам этот аргумент недействителен: так действия пр. Коновалова в Горном Институте были предметом беспристрастного общественного разбирательства, и решение третейского трибунала достаточно обосновывает вынесенный ему сходкой бойкот.

Профессора ответили, что вопрос о Коновалове, действительно, сложнее, нежели вопрос об остальных лицах, явно без достаточных оснований внесенных в «проскрипционный список». На этом заседание смешанной комиссии закончилось.

Оставшись одни, мы принялись обсуждать создавшееся положение. С точки зрения боевой тактики, оно было безнадежно, так как мы сами призна-

40

ли перед профессорами несостоятельность решения сходки. Каплан обвинял во всем меня. Я доказывал, что другого выхода у нас не было, так как решение сходки 19-го сентября, не выдерживает критики и должно быть отменено. Решили передать вопрос в социал-демократический комитет и в Коалиционный Совет.

На утро я поспешил к приват-доценту, сообщившему мне о доносах пр. Георгиевского.

— Не можете ли представить доказательства? спросил я его.

— Помилуйте, какие возможны доказательства в подобных делах!

— Тогда вам придется выступить на сходке в качестве свидетеля.

— Это невозможно! Скажут, что я выживаю Георгиевского, чтобы занять его кафедру. Знаете что? Лучше всего, выступите с а м и и подтвердите, что вы получили сведения из вполне достоверного источника.

— Достоверного? Но если я вам не верю! Святловский принял вид оскорбленной невинности:

— До сих пор молодежь верила мне. Я не ожидал... Мне очень больно.

Но я уже не пытался продолжать разговор в парламентских тонах и очень выразительно объяснил приват-доценту, что думаю об его поведении.

В заключение я сказал:

— Для меня ясно, что никаких доказательств у вас нет. Я так и объявлю на сходке, — что Георгиевский оклеветан вами.

Я вышел, не прощаясь. Но приват-доцент поспешил за мной в переднюю, предупредительно подал мне пальто, затем вышел проводить меня на лестницу. Он был бледен, расстроен и все повторял:

— Вы подумаете еще... Это не последнее ваше слово... Вы этого не сделаете...

Результаты своего разговора со Святловским я доложил Коалиционному Совету, при чем энергично доказывал, что постановление о «проскрипционном списке» должно быть отменено, так как совершенно несомненно, что оно было принято без соблюдения требований процессуальной справедливости. После горячих споров было решено, что комиссия, выбранная для переговоров с профессорами, представит сходке мотивированный доклад о необходимости отменить решение об «активном бойкоте» профессоров, против которых не имеется конкретных и точно установленных обвинений. Докладчиком по этому вопросу назначили меня — отчасти в отместку за неосторожность при ведении переговоров с профессорами. При этом просили меня, без крайней надобности, не называть имя Святловского (чтобы не давать правым профессорам оружия против младших преподавателей).

Сходка состоялась 25-го сентября. Предложение уничтожить «проскрипционный список» и отказаться от бойкота правых профессоров (за исключением Коновалова и Жданова) вызвало со стороны части студентов взрыв протестов и свистков. Я апеллировал к чувству справедливости молодежи, и пр. Покровский был бы не мало изумлен, еслибы, присутствуя на этой сходке, он услышал с о ю речь в устах студента-большевика.

41

Энгель поддерживал меня. В конце концов, после долгих и довольно сумбурных прений, сходка приняла резолюцию:

«На сходке 19-го сентября, при вынесении резолюции о «проскрипционном списке», не были соблюдены некоторые принципы процессуальной справедливости:

«1) обвиняемых судили заочно;

«2) судили многих сразу за разнообразные поступки;

«3) обвинения против некоторых лиц не были сформулированы достаточно ясно и определенно.

«В виду этого сходка полагает, что вопрос о бойкоте лиц, внесенных в «проскрипционный список», нельзя считать решенным окончательно. До рассмотрения этого вопроса особой комиссией сходка предоставляет товарищам слушать или не слушать каждого профессора, руководствуясь собственной совестью».

Таким образом, вопрос о «проскрипционном списке» был погребен в комиссии (которая, к слову сказать, так этого вопроса и не рассмотрела). Поводы конфликта с профессурой были устранимы. Совет Профессоров сохранил за собой право распределения кафедр (то есть, приглашения и удаления из Университета профессоров) — это свое важнейшее право в области академической жизни. Со своей стороны, наша группа сохранила возможность распоряжаться в Университете вне часов занятий.

Спустя несколько дней состоялись выборы Совета Старост.

Выборы производились по факультетам, путем тайной подачи голосов за списки кандидатов, выставленные различными партиями и группами,

Больше всего голосов собрал объединенный список большевиков, меньшевиков и бундовцев. У социал-демократов оказалось в Совете Старост абсолютное большинство. Следующую по численности фракцию составляли социалисты-революционеры, и обе социалистические фракции вместе господствовали в Совете безраздельно, не встречая противодействия со стороны маленькой группы «беспартийных».

Во главе последней группы стоял Виленкин, — талантливый оратор, очень неглупый человек, смелый, находчивый, остроумный. У него была тактика — выступать по всем вопросам, подчеркивая отличие своей точки зрения от взглядов социалистических партий, но никогда не доводить дело до конфликта.

Социал-демократы, руководившие Советом, делились на две группы: одни вели повседневную работу в столовой комиссии, в студенческом бюро по прискаанию мест, в землячествах и т.д.; на других, как, например, на мне, лежала политическая работа, — то есть, «использование» Университета и выступления на сходках.

Само собой разумеется, что к старостам, появившимся лишь на сходках и подвизавшимся на закрытых для студентов митингах, умеренные элементы студенчества относились с некоторой опаской. У Виленкина это отношение выражалось, между прочим, в проницательной почтительности, с которой он поглядывал на мои высокие сапоги и черную

92

косоворотку с ремненным поясом: в то время я уже вел партийную работу среди рабочих, большую часть дня проводил в заводских районах и привык одеваться по заводскому, чтобы не выделяться из толпы; Виленкин же считал мой пролетарский костюм революционным маскарадом.

Однажды я пришел на вечернее заседание Совета Старост смертельно усталый. С шести часов утра я был на ногах, три раза говорил под открытым небом. Совершенно разбитый, я мечтал лишь о том, чтоб заснуть, а между тем в Совете Старост мне пришлось в этот вечер председательствовать. Заседание происходило в одной из зал нижнего этажа, мы расположились в глубоких кожаных креслах вокруг стола, крытого зеленым сукном. Я чувствовал, что веки мои слипаются, что голова опускается все ниже.

Вдруг громкий стук, и вслед за тем чей-то негодующий голос:

— Это безобразие! Уберите ноги!

Смотрю, — Виленкин положил ноги на стол и лежит, откинувшись на спинку кресла, в самой невозможной позе, не обращая внимания на стоящего над ним в угрожающей позе эсера.

— Что это значит? изумился я, протирая глаза.

Виленкин объяснил невозмутимо:

— Там, где председатель собрания спит, члены собрания могут класть ноги на стол.

И он убрал ноги со стола, лишь получив от меня торжественное обещание, что я не буду больше спать на заседаниях.

Впрочем, подобные мелкие конфликты не нарушали доброго согласия, царившего в Совете Старост.

Дружелюбные отношения вскоре наладились и между Советом Старост и Советом Профессоров.

Профессора неоднократно подымали речь о том, что Университет не приспособлен для митингов: потолки могут не выдержать чрезмерной нагрузки, здание не имеет запасных выходов на случай пожара, паника может вызвать здесь бесчисленные жертвы. Отсюда следовало, что необходимо перенести митинги в другое помещение. В ответ старосты ссылались на полицейские условия, — и все оставалось по старому.

По утрам в Университете шли лекции, — аудитории и лаборатории были наполнены студентами, за кафедрами сидели профессора. А вечером не только Актовый Зал и аудитории, но порою и двор наполнялись рабочей толпой, которая расходилась лишь после полуночи. С рассвета сторожа принимались за уборку, — и к 9-ти ч. утра Университет снова принимал свой казенно-благопристойный облик.

В этом отношении в Петербургском Университете (как и в других петербургских высших учебных заведениях) дела сложились совершенно иначе, чем, например, в Москве.

В то время как в Петербурге все профессора — не исключая и крайних правых — спокойно читали лекции по утрам, предоставляя в наше распоряжение и кафедры, и аудитории в вечерние часы, в Москве не только правые профессора, но и либеральные профессора, пользовавшиеся популярностью среди студентов (как ин. С. Трубецкой и Мануйлов), ни за что не хотели примириться с митингами в стенах Университета.

43

Это различие тактики петербургской и московской профессуры нельзя объяснить политическим радикализмом петербургских профессоров, сравнительно с московскими. Принципиальная позиция тех и других была одна и та же. И московские профессора твердо проводили ее, тогда как петербургские плыли по течению, приспособляясь к обстоятельствам, делая уступки студентам. Но компромисс всегда двусторонен. И несомненно, что дальше известного предела в своих уступках петербургские профессора не пошли бы. Поэтому, установившееся в Петербургском Университете положение не было бы возможно, если бы революционная часть студенчества не вяла здесь на себя ликвидацию академических конфликтов и охрану «внутреннего мира».

Это не было с ее стороны осуществлением зрело продуманной тактики, но явилось результатом случайных обстоятельств.

Любопытно отметить, что «Искра», еще в июле пророчески угадавшая возможность использования высших учебных заведений для широкой митинговой кампании, рекомендовала студенчеству совершенно новую тактику по отношению к профессуре.

«Само собою разумеется, писала «Искра» в уже цитированной мною статье, что революционное студенчество встретит противодействие не только со стороны правительства. Многие из тех «радикальных» профессоров, которые упиваются своей собственной гражданской доблестью, выражающейся в бессильном отказе читать лекции, поднимут ужасный вопль по случаю покушения революции на «свободу» науки. Но смущаться этими

воплями не следует, не только потому, что свобода профессорской «науки», всегда косящей глазами в сторону правящих классов, — вещь довольно сомнительной ценности, но и потому, что те недолгие дни до водворения либерального «порядка», когда университет будет достоянием революционного народа, будет трибуной, с которой в свободном состязании будет раздаваться всякий голос, всякое мнение, — эти недолгие дни и будут днями истинной свободы науки, свободы мысли, свободы исследования. И можно заранее поручиться, что те студенты, которым выпадет на долю счастье пережить эти дни, не так то легко и скоро дадут снова запретить себя в оглобли размеренно аккуратной «научной мысли» гг. профессоров»...

Таким образом, студенчеству предлагалось дать профессорам бой на почве толкования академической свободы.

При иных условиях такая борьба имела бы, быть может, политическое значение, но при сложившейся обстановке применение этой тактики привело бы к срыву митинговой кампании. В конце сентября перед нами была лишь одна задача — удерживать в своих руках университетские стены для революционного их использования рабочими. И эта задача оказалась разрешена успешно исключительно благодаря тому, что мы без боя и без долгих размышлений уступили профессорам те позиции на поле академических споров, которым они придавали наибольшее значение, и которых, следуя до конца тактике «Искры», мы не должны были бы сдавать ни в каком случае.

* * *

44

С полосой университетских митингов тесно связана история петербургских октябрьских дней. Деятели октябрьского периода не только видели эту связь, но часто склонны были переоценивать ее.

Так, Витте пишет в своих «Воспоминаниях»: «Указ об автономии университетов, последовавший в августе месяце, был первою брешью, через которую революция, созревшая в подполье, выступила наружу» (т. I. стр. 486).

В этом же смысле высказывался Хрусталева-Носарь в своей речи на суде (25-го января 1906 г.): «Зародыш Совета Рабочих Депутатов надо искать в сентябрьских днях, говорил он: Сентябрь — это время митингов. «Автономная» высшая школа превратилась в политическую трибуну. Десятки тысяч рабочих были охвачены митинговой лавиной. На этих митингах говорили о борьбе, звали к ней. Повышенное настроение пролетариата характеризует сентябрьские дни. Железно-дорожная стачка дала выход этому психологическому подъему».

Я думаю, что эти утверждения нуждаются в существенных оговорках. Граф Витте готов был объяснять всю революцию 1905 г. указом об автономии просто потому, что указ этот был издан без его совета, в то время, как он сидел в Портсмуте. Что же касается до Хрусталева, то он события общероссийские рассматривал сквозь петербургскую призму.

Октябрьская забастовка охватила всю Россию. Началась она в Москве, где университетские митинги не достигли большого развития, и где сентябрьское движение характеризовалось скорее уличными манифестациями и вооруженными столк-

новениями, нежели речами на революционно-политические темы. В частности, не митингами была подготовлена всероссийская забастовка железнодорожников, сыгравшая решающую роль в развитии октябрьских событий.

Митинги в высших учебных заведениях были характерной особенностью пред-октябрьского периода в Петербурге (и еще в трех-четырех городах). Поэтому в них следует искать объяснения не октябрьского движения в целом, а тех особенностей, которые характеризовали это движение в Петербурге.

А главной особенностью петербургского движения было то, что оно создало Совет Рабочих Депутатов, центральный орган, который, если не руководил стихийным рабочим движением, то являлся его глашатаем, его политическим выразителем. Благодаря Совету октябрьские события приобрели в Петербурге внешний вид большей планомерности, организованности, осознанности; в них отчетливее выступила наружу власть определенных политических формул. Но может быть, не менее характерной особенностью революционного движения в Петербурге за этот период было обилие слов — хороших, горячих, искренних, но все же слов, не претворявшихся в дело.

Эти черты — как положительные, так и отрицательные — действительно, были подготовлены той митинговой агитацией, через которую прошли десятки тысяч петербургских рабочих в период, который обыкновенно называют «сентябрьскими днями», но который в действительности охватывает послед-

ние десять дней сентября и первую половину октября.

* * *

В начале октября митинги в высших учебных заведениях Петербурга получили особенное развитие. 2-го октября в Горном Институте набралось столько народу — исключительно рабочих, — что балки большого зала дали прогиб; дело могло бы кончиться катастрофой, но все обошлось благополучно благодаря тому, что толпа, наполнявшая зал, узнав об опасности, отнеслась к ней с чисто русской беспечностью и очистила зал без спешки, без давки, нехотя уступая просьбам студентов устроителей митинга. ...

7-го октября забастовал московский железнодорожный узел. В Петербурге ходили противоречивые слухи об этой забастовке. Газетные вести не удовлетворяли рабочих, им хотелось узнать подробности о событиях от «своих», от «ораторов», к которым они привыкли за последние 2—3 недели. Гуще повалила толпа на митинги, и характер этих митингов изменился: настроение их стало более деловое, сосредоточенное; читались телеграммы, делались доклады о мест; наметился новый порядок обсуждения, — по профессиям, по отдельным заводам, по районам.

8-го октября на митинге в Военно-Медицинской Академии только и было речи, что о всеобщей забастовке. И характерная подробность: все ораторы всех партий высказывались против забастовки.

Аргументов было множество.

45
1061

всеобщая забастовка в России невозможна, так как подобное выступление требует чрезвычайной организованности пролетариата;

всеобщая забастовка бесцельна, так как это оружие недостаточно остро, чтобы заставить капитулировать правительство;

всеобщая забастовка опасна, так как она бьет по интересам масс населения и вооружает их против рабочего класса.

Общий вывод:

Не забастовка, а восстание!

Один за другим подымались на кафедру социал-демократы и социалисты-революционеры и страстно призывали рабочих «не поддаваться на провокацию», — конкретно это означало: не бастовать и готовиться к восстанию¹).

То же самое повторилось на митингах 9-го и 10-го октября, — когда Москва, Харьков, Ревель уже бастовали.

11-го октября на митинг в Университет собралось свыше 30 тысяч человек. Актовый Зал был представлен петербургскому отделению железнодорожного союза. Выступали исключительно железнодорожники. После обсуждения доклада делегатов, отправленных союзом для переговоров с Хилковым (министром Путей Сообщения) и с Витте, митинг единогласно постановил:

¹ Отмечу, что эти призывы начались еще раньше, до 7-го. Революционные партии боялись, как бы разрозненные забастовки «по сочувствию» и по частным экономическим поводам не повредили предстоящему восстанию. 5-го октября на митингах выносились резолюции в этом смысле.

Питербургскому уезу присоединился ко Всероссийской железной дороге и вернулся еще к этому решению. А пока отменяю, что в то время, как в Актовом зале Унверситета выносились эти резолюции, в бесчисленных аудиториях, переполненных рабочими, и во дворе, где с двух трибун, под открытым небом, проносятся речи перед толпой, — все еще шла агитация против забастовки.

Впрочем, вечером 11-го уже раздалась отдельная толпа в ползу забастовки, — как не толпа в ползу всеобщей забастовки, — как переходного этапа к вооруженному восстанию.

Настоящие рабочие массы развивались в эти дни по каким то своим внутренним законам, независимо от партийных лозунгов, независимо от речей, которые раздавались с ораторской трибуны. Разные с каждым часом все решительнее склонялись в ползу забастовки, которая представлялась им единственно нахождением в их руках оружием борьбы. Они аплодировали речам о вооруженном восстании, отвечали криками «правильно» на призывы «не поддаваться на провокацию», а между тем думали про себя свою думу... И эта их дума, это их молчаливое, все больше крепнущее решение переменялись ораторам, заставляя их порой говорить не то, что они готовились провозгласить, отстраняясь на миг, и не то, чего требовала их партия.

11-го меня вызвали из Университета в Военно-Медицинскую Академию, где собралось несколько тысяч рабочих, а говорить было некому.

Приехал и туда. Аудитория, ошумевшая вни-

подкупленным амфиатром, набита битком. Все — рабочие Выборгской Стороны. Предкают мне го-

ворить о политической забастовке. Чувствуя, что

необходимо дать рабочим прямой ответ на волную-

щий их вопрос, и не решаясь брать на себя ответ-

ственность в столь серьезном деле, я попросил од-

ного товарища немедленно ехать на явку Питер-

бургского Комитета и затребовать указания, что

говорить о забастовке. В ожидании ответа, я начал

речь о политической стачке вообще, как об одном

из оружий борьбы пролетариата. Когда я кончил,

председатель (тоже социал-демократ большевик)

предложил провозгласить вопрос о забастовке о на стро-

ении на их заводах. Начался доклад с мест.

Слушая час возвращается товарищи, посланный

мною на явку Комитета; провозит ответ: «Питер-

бургский Комитет заканчивает обсуждение вопроса,

через полчаса будут приняты директивы».

Никаких вестей из

Комитета. Между тем, митинг продолжается. По-

ворот исключительно рабочие, — и все говорят одно

и то же: забастовка необходима, забастовка должна

быть объявлена немедленно, не может рабочий

Петербург отставать от других городов!

Уже двенадцатый час. Собрание хочет под-

вести итоги, оформить свою мысль. Раздаются

голоса:

— Пускай теперь партия не говорит! Пу-

скай товарищи о р а т о р нам скажет!

Присит меня взять слово. Немного поди-

нясь общему порыву, я начинаю свою речь:

— Товарищи! что могу я прибавить к тому, что

95

уже было сказано? Да здравствует всеобщая забастовка!

Гремят рукоплескания. Сидевшие на скамьях поднялись со своих мест.

В это время к столу председателя подбегает студент, передает ему сложенную записку, что то шепчет ему на ухо. Председатель бросил взгляд на бумажку, проткнул ее, было, мне, но затем раздумал, отложил ее в сторону и слушает мою речь.

Когда я кончил, председатель передал мне бумажку. На ней было написано дословно:

«Директива агитаторам — выяснить
про и contra забастовки.

П. К. Р. С.-Д. Р. П.»¹⁾

Это была, все же, директива! У эсэров не было и того. И лишь меньшевистская «Группа», как я узнал позже, приняла в этот вечер решение, которое в дальнейшем должно было привести к образованию Петербургского Совета Рабочих Депутатов.

А 12-го октября в Петербурге была уже всеобщая забастовка.

В следующей главе я расскажу подробнее о том, как она началась, пока же, забегаю немного вперед, я остановлюсь на том, что происходило в эти дни в Университете.

Ни в сентябре, ни в начале октября правительство не принимало никаких мер против революционной агитации в стенах высших учебных заведений.

¹⁾ Эту «директиву» хорошо помнят товарищи, вместе со мной бывшие в большевистской ораторской коллегии в конце 1905 года.

Борьба самодержавия с революцией велась в это время партизански-анархическими методами: в то время, как одни из администраторов проявляли свое усердие погромами, избиением крамольников, другие думали лишь о том, как бы выдти сухими из воды, набежав и пули террориста, и гнева начальства. В Петербурге явно преобладала именно эта предусмотрительная тенденция. С одной стороны, в городе, являющемся местом пребывания иностранных посольств, в непосредственной близости от Европы, на глазах у корреспондентов европейских газет, неудобно было устраивать погромы, а других способов борьбы с крамолой администрация не знала. С другой стороны, усердие администраторов-головорезов парализовалось здесь близостью безвольного, вечно колеблющегося, капризного самодержца. К тому же и тени павших 9-го января еще витали над Петербургом, как предостережение тем, кто вздумал бы вновь устроить бойню безоружных рабочих. Наконец, начальство не было вполне уверено в войсках и боялось отдать им приказ, который мог бы послужить сигналом для открытого возмущения.

В силу всех этих условий, Петербурга не коснулся тот смерч погромов, который уже гулял по России. И потому именно Петербург имела, главным образом, в виду черносотенная печать, сетуя на то, что «начальство ушло».

12-го октября, когда Петербург был уже охвачен всеобщей забастовкой, правительство, или, точнее, придворные круги решили действовать. Начальство вернулось. 13-го Трепов, принявший на себя руководство операциями, начал стягивать

48

в Петербург из близлежащих мест наиболее надежные воинские части.

14-го он падал свой исторический приказ:

«Патронов не жалеть и холостых патронов не давать».

Одновременно было опубликовано постановление правительства, категорически воспрещавшее политические собрания в стенах высших учебных заведений. Наблюдение за исполнением этого распоряжения возлагалось на советы профессоров, причем им вменялось в обязанность, в случае недействительности иных мер к предупреждению митингов, закрывать высшие учебные заведения. Вместе с тем рабочим бросалась небольшая подачка: им представлялись — «безмездно» — для собраний три помещения (народный дом гр. Паниной, Василеостровский театр и народный дом Нобеля). Для Университета создавалась серьезная опасность. Днем в Актовом Зале собралась студенческая сходка. Присутствовало на ней около тысячи человек довольно случайного состава.

Ректор И. И. Боргман обратился к студентам с речью, заклиная молодежь, в предупреждение кровопролития, согласиться на временное закрытие Университета. Совет Старост, застигнутый врасплох, поручил мне ответить на эту речь.

Я заявил, прежде всего, что признаю справедливый опасения ректора, признаю, что студенчество идет навстречу опасности, — быть может даже, навстречу кровавым жертвам. Но разве бывает борьба без опасностей? Разве возможна революция без жертв? Разве жертвы, ожидающие нас, будут

первыми жертвами, принесенными за освобождение России?

Напомнив решение сходки 13-го сентября, я предложил резолюцию:

«Университет, открытый во имя интересов революции, останется открытым, не смотря ни на что».

Эта резолюция была принята сходкой почти единогласно. Впрочем, я тогда же говорил партийным товарищам, что не следует переоценивать этого голосования: многие студенты, голосуя за мою резолюцию, в душе, наверное, давали себе слово не показываться в Университете, «пока все не уляжется».

Но это не могло смутить нас: поглощенные мыслью об использовании университетских стен для агитации среди рабочих, в то время мы уже мало заботились о революционной температуре студенчества.

14-го октября в Университете собрался митинг Союза Союзов. По довольно осторожному подсчету, в Актовый Зал, в аудитории и во двор набралось до 40 тысяч человек. Это был самый многочисленный из митингов этого периода. Говорили о всеобщей забастовке. Состав собравшихся был интеллигентский, рабочих было мало. Но чувствовался большой подъем. Резолюции о присоединении ко всеобщей забастовке принимались единогласно.

В отдельной Аудитории собралось петербургское отделение Академического Союза. Большинство собрания составляли младшие преподаватели (приват-доценты, лаборанты). Из профессоров яви-

лись лишь немногие, наиболее левые, — помню среди них пр. Е. Тарле.

Положение Академического Союза в эти дни было не из легких.

Ему, как члену Союза Союзов, приходилось определить свое отношение ко всеобщей забастовке.

Забастовать? Но забастовка профессоров и приват-доцентов в то время, когда студенчество отказывается от этой формы протеста, практически означала бы закрытие высших учебных заведений вопреки воле студенчества, то есть капитуляцию перед Треповым.

С другой стороны, не бастовать в то время, когда все бастуют? Согласуется ли такая линия поведения с требованиями гражданского долга?

Собрание решило заслушать по этому вопросу мнение представителей студенчества. И так как заседание происходило в стенах Университета, то, естественно, обратились к нашему Совету Старост. Как представитель социал-демократической фракции Совета, я выступил с разъяснением тактики студенчества.

В начале моей речи произошел небольшой инцидент. Я говорил охрипшим от митинговых выступлений голосом и одет был по заводскому, в высоких сапогах и косоворотке. Это вызвало протест со стороны одного из членов собрания:

— Мы хотели бы слышать речь представителя студентов, а не рабочих!..

В своей речи я доказывал, что для успешного проведения всеобщей забастовки необходимо, чтобы высшие учебные заведения оставались открытыми, ибо нет другого места для устройства рабочих митингов.

Поэтому, несмотря на всеобщую забастовку, долг профессоров продолжать читать лекции.

Кто-то спросил:

— Неужели на Университетской линии труднее расстрелять толпу рабочих, чем на Шлиссельбургском тракте?

Я ответил:

— Повидимому, труднее. Митинги идут уже четвертую неделю, а до сих пор не пролилось ни единой капли крови.

— Но завтра, быть может, кровь польется ручьями.

— Может быть... Но пока высшие учебные заведения служат нам.

Один из присутствовавших — кажется, Тарле — сказал:

— Я думаю, что в данном случае решающее слово принадлежит студенчеству и, в частности, его революционной части. У меня нет уверенности в правильности принятой студенчеством тактики, но я не вижу для нас возможности изменить эту тактику. Мы должны принести ту жертву, которой требует у нас представитель Совета Старост.

И собрание приняло, в конце концов, следующую резолюцию:

«Признавая, что в настоящее время устройство митингов является потребностью страны, не удовлетворяемой вновь созданными правилами о собраниях, мы, члены петербургского отделения Академического Союза, в ответ на распоряжение правительства, опубликованное 14-го октября, заявляем, что препятствовать устройству митин-

гов в стенах высших учебных заведений мы не будем. Вместе с тем, мы решительно отказываемся закрывать высшие учебные заведения. Применение правительством вооруженной силы к прекращению митингов мы считаем преступлением против народа».

Но наши митинги уже подходили к концу.

* * *

Последний митинг в Университете состоялся вечером 15-го октября.

С утра стало известно, что правительство — или, может быть, градоначальство (ибо ген. Трепов представлял в эти дни верховную власть и для Петербурга, и для всей России) — решило вооруженной рукой положить конец митингам в высших учебных заведениях, и что в этот день войска будут пущены в дело.

Снова собралась летучая сходка в Актовом Зале. Но зал был далеко не полон: в это утро в Университете едва ли было более 600—800 чел.: все более осторожные и умеренные студенты сидели по домам, а сошлись в Университет горячие, революционно настроенные юноши-первокурсники.

Говорили о том, что делать в случае нападения войск.

Один асар-кавказец с большим жаром развивал план обороны: заранее забарикадировать окна нижнего этажа и все двери, кроме главного входа с Университетской линии; у главного входа приготовить материалы для того, чтобы можно было в любой момент соорудить и здесь барикаду; у

50
всех барикад поставить вооруженные револьверами дружины...

Это предложение встретило сочувствие сходки. У нас, в партийных кругах, не обсуждался предварительно вопрос о возможности вооруженной обороны Университета. Но пока говорил пылкий кавказец, я с полной ясностью представлял себе, в какой кровавый фарс грозит превратиться эта затея.

Возражая оратору асару, я начал с критики позиций, избранных им для боя с войсками самодержавия. Из всех зданий Петербурга, говорил я, менее всего пригодно для барикадной обороны здание Университета, — со всех сторон открытое для обстрела, вытянутое на четверть версты в длину, со стенами, состоящими чуть не сплошь из окон. Да и чем будем мы оборонять это здание от пушечного огня? Но нужно подумать о другой опасности, — о панике, которая может овладеть толпой при приближении войск.

И я предложил, не отменяя вечернего митинга, принять меры к тому, чтобы иметь возможность, в случае надобности, распустить его, не доводя дела до кровопролития.

После меня взял слово студент Никольский. Он наметил ряд практических мероприятий: выяснить имеющиеся запасные выходы, подготовить пути для выпуска толпы с университетского двора на боковые улицы, наметить достаточное число распорядителей, установить наблюдательные посты вокруг Университета, иметь наготове лиц для переговоров с войсками, заранее предупредить собравшихся о возможной опасности, не допускать на

митинг детей и женщин, организовать, на всякий случай, отряды скорой помощи.

Никольский в первый раз выступал на сходке. Но говорил он уверенно, резко, будто отдавал приказания. Тут же было решено поручить ему руководство «обороной» Университета, и он немедленно приступил к делу, открыв запись добровольцев.

Так родился знаменитый «академический легион»: хотя Никольский, как человек, прошедший военную школу, и придавал своей работе полувойенный характер (со «штабом», службой связи, службой разведки и т. д.), но по существу это была совершенно невинная организация «распорядителей» с белыми бантами...

Работа кипела. На дворе разбирали какие-то изгороди, в «штабе» изучали план города, в коридоре и на лестнице появились цепи дежурных. Никольский, уже получивший среди студентов кличку: «генерал Трепов», или более кратко «генерал», поспевал повсюду.

К 8 ч., когда начала собираться в Университет «митинговая» публика, все приготовления были закончены. Двое старост стояли внизу, у входной двери, и предупреждали приходящих:

— Сегодняшнее собрание может закончиться столкновением с войсками. Может быть, вы вернетесь, пока не поздно?

Рабочие проходили мимо, добродушно посмеиваясь:

— Это на счет того, что патронов велено не жалеть? Ничего!

51

Вернулось после предупреждения лишь несколько дам, пришедших на митинг из любопытства. Да еще мы отказались пропустить группу гимназистов и гимназисток, которые, без нашего ведома, назначили на этот день в Университете свое собрание. Ребята были крайне обижены. Один из них, стройный юноша с симпатичным лицом, горячо доказывал:

— Вы становитесь на бюрократическую почву... Вы судите о людях по форме, которую они носят...

У гимназиста нашлись заступники среди рабочих. Но старосты остались непреклонны.

Тогда гимназисты заявили:

— В таком случае мы устроим собрание во дворе Университета, под открытым небом! Мы разойдемся, лишь подчиняясь силе.

И, действительно, они открыли свое собрание во дворе, пользуясь кучей каменного угля, как трибуной, и, кажется, вынесли здесь резолюцию протеста против Совета Старост.

Что касается до митинга в стенах Университета, то на этот раз народу на нем было сравнительно не очень много, тысяч 10—15. Но настроение собравшихся было исключительно боевое.

В этот вечер я должен был выступить с речами чуть ли не десять раз — и в Актовом Зале, и в отдельных аудиториях. Помимо этого, на мне лежали сношения с Никольским, и я то и дело поднимался в третий этаж, в его «штаб», куда поступали донесения «разведчиков».

Университет со всех сторон был окружен войсками, но держались они на порядочном расстоянии, образуя широкое — и не сплошное — кольцо,

радиусом около версты. Значительные силы стояли у Биржи, другой отряд был сосредоточен на противоположном берегу Невы, у Адмиралтейства. Отмечались передвижения войсковых частей на Васильевском острове.

Но противник медлил, как будто неуверенный в своих силах. Проснакали по Университетской линии казаки, проехала через дворцовый мост артиллерия, быстрым шагом прошла мимо Университета пехота.

Митинг продолжался.

Полк конницы вытянулся против фасада Университета, вдоль противоположного тротуара, и замер неподвижно. Но это была лишь демонстрация, а не подготовка нападения, — ясно было, что кавалеристы не могут развернутым строем атаковать здание, отделенное от улицы высокой железной оградой. Мы решили не обращать внимания на этот мапевр.

Но вот, конница перестраивается. Сплошная линия ее разбилась на отдельные звенья, собралась в три-четыре темные, неподвижные массы. В промежутках между группами всадников появляется пехота. Лязгает оружие, стучат конские подковы по камням мостовой, всадники спешиваются, равняются по пехоте, лошадей уводят куда то назад, в темноту.

Положение становится более серьезным. Но линия солдат неподвижна. Будет ли отдан приказ атаковать?

Во всяком случае, без предупреждения огня не откроют. Время еще есть. Будем продолжать митинг!

51

Прибегают «разведчики», посланные Никольским к Дворцовому и Тучкову мостам, в тыл выстроенных против Университета солдат.

— Прибыла артиллерия! Орудия снимаются с передков, устанавливаются против Университета!

Из окон комнаты, занятой «штабом», видно движение за линией войск, видны силуэты, подтверждающие донесения «разведчиков»¹⁾. Повидному, приближается решительный миг. Нужно быть готовыми ко всему. Посылаем предупредить комиссию, уполномоченную на ведение переговоров с противником. Я бегу в Актовый Зал и занимаю место рядом с председателем, чтобы, по получении записки от Никольского, распустить собрание.

С высокой кафедры видна часть Университетской линии, виден неподвижный строй солдат, видны мелькающие позади этого строя странные тени. Актовый Зал набит битком. Как распустить эту толпу без давки в дверях, без паники?

Мне подают записку из «штаба»: «Пора закрыть собрание. Расходиться не всем сразу».

Показываю записку председателю. Тот дает мне слово «для внеочередного сообщения».

В это время протиснулась в зал группа студентов-распорядителей с белыми повязками на рукаве. Они расположились цепью поперек зала, отрезая задние ряды.

Я начинаю свою речь:

¹⁾ Чтобы не придавать событиям этого дня преувеличенного драматизма, я должен отметить, что не знаю на верное, была ли, на самом деле, выставлена против Университета артиллерия: я допускаю, что наши «разведчики» в темноте привяли за пушки обоз походных кухонь...

— Вы знаете, товарищи, о провокации, задуманной Треповым. Я должен сообщить вам о последних действиях петербургского градоначальника. Его войска уже выстроены против Университета, в нескольких шагах от нас... На нас навешены жерла пушек...

Крики негодования несутся из толпы. Но нет признаков испуга. Самый опасный момент прошел: паники не будет, мы успеем распустить митинг, прежде чем здание наполнится солдатами. Но нужно распустить митинг так, чтобы рабочие не унесли с собою в районы горького чувства поражения!

И я продолжаю речь:

— Как ответим мы на провокацию Трепова? Мы не готовы к бою, у нас нет оружия, мы пришли сюда для обсуждения своих нужд, а не для восстания. Так разойдемся же теперь в полном спокойствии и порядке!... Товарищей, стоящих ближе к дверям, за цепью распорядителей, прошу покинуть собрание... Остальных прошу не двигаться с места... Я продолжаю, товарищи! Мы не отказываемся от своего права свободно собираться в стенах Университета... Мы вернемся сюда и силою оружия вернем себе эту трибуну...

— Завтра! несутся из толпы: Завтра все, с оружием, к Университету!

— Да, завтра! подхватываю я родившийся в толпе лозунг: Завтра все к Университету, с оружием в руках!

В это время цепь распорядителей уже передвинулась ближе к кафедре, отрезав вновь часть толпы. Вновь отпускаю задние ряды.

— Назначьте время на завтра! кричат уходящие.
— 3 часа! отвечаю я: А сейчас прошу уходящих не задерживаться в коридоре...

— До завтра! несутся крики.

Стоявший рядом со мною агитатор-большевик Леонид схватил меня за руку:

— Что вы делаете? Разве можно так назначать вооруженную демонстрацию? Знаете, что произойдет завтра?

Но я был настолько поглощен своей задачей распустить сегодняшний митинг, что не мог думать о завтрашнем дне.

Голос у меня сорвался. Леонид сменил меня. У меня шевельнулась мысль, что, быть может, Леонид был прав, и не следовало призывать рабочих идти к Университету с оружием. Родилась надежда, что товарищ исправит дело. Но куда! Леонид с еще большей страстью, чем я, повторял:

— Так помните, товарищи! Завтра, в 3 часа! С оружием! Что у кого найдется! Все на решительный бой!

А час спустя я узнал, что совершенно независимо от меня и от Леонида в десятке аудиторий, десятком ораторов, закрывая собрания, повторяли тот же лозунг!...

В первом часу ночи солдаты заняли все входы в Университет и вошли в главные двери. Но ни в ярко освещенном Актовой Зале, ни в аудиториях уже не было ни души. Лишь группа студенческих старост встретила солдат на площадке лестницы.

Командовавший отрядом офицер заявил нам, что мы можем оставаться или расходиться по домам, так как ему приказано пустить в ход оружие против

посторонних лиц, собравшихся в числе многих тысяч в Университете, а не против десятка старост. Часов до 5 утра мы просидели в университетской канцелярии, а когда рассвело, пошли спать.

Здание Университета осталось в руках правительственных войск. В эту же ночь были оцеплены и все остальные высшие учебные заведения. Лишь в Технологическом Институте заперлась группа студентов, решившая оказать сопротивление войскам. Но эта попытка не имела серьезных последствий. Не имел последствий и наш призыв к вооруженной демонстрации перед Университетом¹⁾...

Полоса митингов в высших учебных заведениях оборвалась. Но победа ген. Тренова оказалась призрачной: всеобщая забастовка продолжалась.

¹⁾ Об этом подробнее в следующей главе.

II. СРЕДИ РАБОЧИХ.

Петербургские рабочие в 1905 г. — Первый раз в рабочем квартале. — Пропагандистский кружок. — Начало всеобщей забастовки. — Как родилась мысль о Совете Рабочих Депутатов. — Первые шаги С. Р. Д. — В дни забастовки. 17-го октября. — После манифеста. — Военный митинг. Конец октябрьской забастовки. — Заводские митинги. Большевики и С. Р. Д. — Союзное строительство. — Митинг околоточных. — Борьба за 8-часовой рабочий день. Выступления черной сотни. — 29 октября в С. Р. Д. — За Невской заставой. — Кронштадтское восстание. — Начало второй забастовки. — На путильовском заводе. — Братцы-рабочие. — Конец забастовки. — Вторая забастовка и общество. — Польский митинг. — Локаут. — Последние усилия. — Чем был Совет Рабочих Депутатов?

К 1905 году рабочее движение в Петербурге имело уже за собой длинную историю. Но едва ли можно было найти среди местных рабочих хоть десять человек, которые хранили бы память о пройденном петербургским пролетариатом пути.

В течение тридцати лет упорно работала мысль в рабочих кварталах Петербурга. Но столь же упорно работала все эти годы царская охранка. Задумать движение, задержать нарастание революционных настроений в рабочих массах она не могла, но ей удалось помешать накоплению в этих массах политических знаний и традиций.

Помню, с каким благоговением слушала в сентябре 1905 года рабочая толпа агитатора, рассказывавшего ей о Степане Халтурине. Но точно также стала бы слушать она о Спартаке: имя основателя

55

Северного Рабочего Союза было для нее столь же новое, неизвестное, как имя вождя римски гладиаторов. И если Степан все же казался более близким и дорогим, то лишь потому, что «товарищ оратор» разъяснил, что это был св брат, питерский мастеровой.

Общий уровень политической сознательности петербургского пролетариата понижался тем, что состав его был непостоянный, текучий. Старых рабочих, проводивших на заводе или на фабрике всю жизнь, в Петербурге было немного, да и держались они, по большей части, в стороне от революционных выступлений.

Много было на заводах чернорабочих, — из крестьян, лишь недавно пришедших из деревни в столицу. А на фабриках было много совершенно темных жещин-работниц. Но в недавнем прошлом было у них широкое захватывающее движение, которое все петербургские рабочие пережили сообща, — было движение 9-го января. И благодаря этому кровавому уроку, к осени 1905 года в рабочих массах Петербурга уже не было и следа тех монархических настроений, на которых выросли зубатовщина и гапоновщина.

Остатки веры в царя встречались чрезвычайно редко. Я лично помню лишь два таких случая: раз одна работница на фабрике Штиглица заметила при мне, что «грех царя ругать», другой случай произошел на Фряко-Русском заводе.

Бессменным председателем рабочих собраний на этом заводе был Петр — рабочий лет 30-ти, выдающийся оратор (его речь временами текла, как белые стихи) и человек прекрасной души, — добрый

и чуткий. Рабочие относились к нему с трогательной любовью. Как то, при мне, открыв митинг краткой агитационной речью, Петр предложил выступить товарищам, которые с ним несогласны. На трибуну нерешительно поднялся пожилой рабочий-мужичок и начал:

— Не пойму я тебя, Петр. Человек ты хороший, и за нас стоишь, а между прочим — против царя идешь... Как оно так можно?

— Да потому я и иду против царя, отвечает Петр, что я стою за рабочее дело.

— Так оно непохоже выходит, настаивает мужичок: так понимаю, — коли ты за народ, значит, должен стоять за царя. А коли ты против царя, так должен идти супротив простого народа.

И не замечая растущей веселости собрания, мужичок обратился к толпе:

— Правильно я, товарищи, разъяснил? Как вы нашего Петра понимаете?

Ему отвечал дружный хохот, и, недоуменно разводя руками, он спустился с трибуны.

Впрочем, спустя несколько дней, и этот мужичок отказался от своих монархических взглядов, о чем и заявил публично на очередном митинге:

— Теперь я тебя, Петр, одобряю. Теперь я и сам против царя.

— Кто же тебя вразумил? спросил его председатель.

— А казаки!

Накануне, поздним вечером, возвращаясь домой, он попался на глаза казачьему разъезду, и казаки избili его, приговаривая:

— Будешь против царя бунтовать!

В Войтинский.

56

Отрицательная часть революционной программы — против начальства, против хозяев, против царя, — была к осени 1905-го года основательно усвоена рабочими массами Петербурга. Хуже обстояло дело с положительной частью программы, усвоение которой требует длительной, упорной массовой работы, и, увы, дорого стоящих предметных уроков.

Отмечу еще, что уровень сознательности рабочих в Петербурге был неодинаков в различных предприятиях: металлисты шли впереди текстильщиков; пригороды были настроены революционнее, чем центральные районы; печатники резко выделялись из остальной массы городских рабочих; на заводах «горячие» цехи (кузнечный, литейный, прокатный, котельный) отставали от «холодных» мастерских (слесарных, токарных и т. п.). Наконец Семяниковский, Обуховский и Александровский заводы за Невской заставой, Лесснер и Парвпайнен на Выборгской стороне, Трубопрокатный на Васильевском острове проявляли больше готовности к революционным выступлениям, чем, например, путиловцы, столь жестоко пострадавшие 9-го января и обессиленные летней забастовкой.

Митинговая кампания конца сентября и начала октября затронула, хотя и не в равной мере, почти все уголки рабочего Петербурга. В стороне от движения остались лишь немногие предприятия, да отдельные мастерские. Но и здесь массы были полны смутного ожидания чего то, что должно изменить всю их жизнь, и потому так легко, так быстро воспринимали они революционную пропаганду.

Ожидание чего то огромного, надвигающегося неведомо откуда и носящего загадочное, страшное, манящее имя «революции», это почти мистическое ожидание было наиболее характерной чертой в настроении рабочей толпы накануне октябрьских дней.

* * *

Я хочу рассказать подробнее о моей первой встрече с подлинной рабочей толпой, — не на городском митинге, а в глуши заводского квартала¹⁾.

Это было около 20-го сентября. В университетской столовой было назначено в этот вечер смешанное собрание большевиков и меньшевиков для дискуссии о фракционных разногласиях. Докладчиками должны были выступить товарищи, только что приехавшие из за границы.

С большим интересом шел я на это собрание, ибо после десяти дней партийной работы я уже чувствовал, что без знакомства с фракционными разногласиями — я в рядах Р. С.-Д. Р. П., как не знающий дороги странник в лесу.

В это время революционные партии только начинали понемногу вылезать из подполья, и потому собрание, хотя о нем уже за несколько дней почти открыто говорили в Университете, было обставлено всем внешним аппаратом конспирации: перед зданием — «патрули»; у дверей, при проверке

¹⁾ В январе 1906 г., в «Крестах», я, по свежей памяти, записал эту встречу. Несколько лет спустя, я переработал свои записки, придал им беллетристическую форму и в виде рассказа поместил их в «Просвещении» (1913 г. № 1) под довольно неудачным заглавием «Луч света среди мрака». Рассказ навлек на журнал цензурные кары: № был конфискован и против редактора, как и против автора, было возбуждено судебное преследование.

билетов, — особые дежурные, спрашивающие «пароль»; на лестнице — новые контрольные заставы.

Все это было для меня ново и очень мне нравилось. Нравился мне и состав собрания, — было довольно много заводской молодежи, в высоких сапогах, в ярких цветных косоворотках, — все более или менее похожие на Старостина, ослепившего меня на сходке 13-го сентября.

В ожидании начала собрания я присоединился к кучке университетских эдаков, на площадке лестницы слушавших рассказ Абрама о проведенной им на Путиловском заводе летучке.

К нам подошел с озабоченным видом рослый, уса-тый человек, — я уже знал, что это представитель Петербургского Комитета тов. Антон.

— Вот что, товарищи, обратился он к нам: Сегодня вечером рабочий митинг за Невской заставой, ктонибудь должен ехать. Может быть, вы отправитесь, товарищ Абрам?

Но Абрам отказался под предлогом необходимости для него присутствовать на дискуссии. Отказывались и другие агитаторы. Ссылались кто на простуду, кто на постановление комитета: обо всех митингах предупреждать агитаторскую коллегию накануне.

— Поезжайте хоть вы, товарищ Петров, обратился Антон ко мне.

Я был в то время «университетским», а не «заводским» агитатором, так что ночная поездка за заставу явно выходила за пределы взятых мною на себя обязанностей. Все же я ответил, что охотно поехал бы, но на чисто рабочих собраниях я никогда не выступал и не знаю, о чем и как там говорить.

— Это пустяки! решил Антон: Нельзя же в самом деле, допустить, чтобы рабочий митинг разошелся из-за того, что нет оратора, или оратор не знает, о чем говорить. Поезжайте! Чтонибудь скажете...

Очень не хотелось мне ехать, но «чувство долга» оказалось сильнее интереса к предстоявшей дискуссии. Неохотно спустился вниз, оделся и отправился в Невский район. Согласно полученному маршруту, взял у Адмиралтейства конку до Знаменской площади, а там пересел на паровичок, идущий за заставу по Шлиссельбургскому шоссе. Опять таки согласно инструкции, на паровичке взобрался вверх, на империл, — мне объяснили, что этого требует конспирация.

Было холодно, сыро, туманно. А одет я был легко, так как, уходя из дому, не предполагал к ночи очутиться Бог знает где, за городом. Продрог до костей.

По дороге старался приготовить речь. Но не было подходящей темы и, что еще больше смущало меня, никак не складывалась вступительная фраза. Знал твердо, что надо начать с обращения: «товарищи». Но дальше этого дело не шло. Вспомнил, наконец, что не прямо с паровика попаду на митинг, а должен сперва явиться на квартиру к организаторше подрайона, и это меня успокоило.

— Не буду думать о предстоящей речи. Спрошу у товарищей, чем больше всего интересуются местные рабочие.

Постепенно мысли мои приняли другое направление. Ни разу в жизни не бывал я, до этого вечера, в заводском районе. Все здесь было для меня ново.

Паровичок мчался по почти безлюдным, плохо освещенным улицам. Слево и направо вырастали из мрака тяжелые громады зданий, — одни совершенно темные, другие прорезанные множеством одинаковых, ярко освещенных окон. Мрачным строем теснились высокие трубы; над ними из них колебались, подобные огненным языкам, клубы дыма. Местами целые снопы света вырывались из тьмы; ослепительно яркие искры извивались за стеновыми стенами...

С шумом паровика сливался грохот железа, стук молотов, звуки колокола, какие то свистки, какие то выкрики. А людей не было видно, — и это придавало картине отпечаток мрачной таинственности...

Короче, когда я добрался до явочной квартиры, я был во власти новых впечатлений, и совершенно не представлял себе, о чем говорить в этом царстве огня и железа.

Организаторша подрайона встретила меня вопросом:

— Вы один? Мы товарища Абрама просили...

Я ответил:

— Комитет прислал меня. Когда митинг?

Сидевший в глубине комнаты рабочий парень ответил:

— Время еще есть. Через час пойдем, и то успеем.

— О чем должен я говорить?

— А о чем хотите.

— Все же, какие вопросы интересуют ваших рабочих?

— Да как сказать? Вот о республике скажите, о социализме, о партиях... О 8-часовом дне тоже спрашивали... Опять и о свободе объяснить надо... О 9-м января хорошо бы... Ну, там, немного об Учредительном Собрании... Опять и аграрный вопрос, — потому, соберутся все больше, которые из деревни... Про войну тоже очень интересно... Программу покажите...

— Позвольте, товарищ, перебил я его: Сколько времени будет у меня для речи?

— Это как народ стоять будет... Нужно считать, минут 20, а то и полчаса будет...

— Как же вы хотите, чтоб я в 20 минут затронул все вопросы?

— Митинг то у нас впервые, так нужно народ заинтересовать...

Ясно было, что толкового совета от парня я не получу. А тут еще организаторша, недовольная тем, что из Комитета прислали меня, а не Абрама, с'явила:

— Я думала что те, кого они на митинг посылают, сами знают, о чем говорить...

Когда пришло время отправляться на митинг, парень обратил внимание на мою каракулевую шапку. Повертев ее в руках, он сказал:

— Шапочку лучше здесь оставьте, а то потерять можете.

И сняв с гвоздя мохнатую папаху, он протянул ее мне:

— Это наша, организационная. Ее и агитаторам, и пронагандистам даем: тепло, и лицо закрывает, и, в случае если казаки, или что такое, для головы пригодится.

Папаху я одел, но, признаюсь, напоминание о необходимости заранее защитить голову от нагайки окончательно испортило мое настроение.

Организаторша пошла проводить нас. Долго шли по темной улице, по липким досчатым мосткам, вдоль бесконечных заборов. За заборами залгивались собаки. Кое где, сквозь щели заборов, виднелся слабый свет, вырывавшийся из за плохо прикрытых ставней. В воздухе чувствовалась ледяная сырость.

Я придумывал, как начать речь, чтобы сразу заинтересовать толпу. Но ничего не мог придумать.

Вышли на широкую дорогу. Впереди бесконечный пустырь. За ним слабое зарево в небе. Вдали редкая цепь огней. Налево и направо от темного переулочка, которым мы шли, заборы; вдоль них высокие деревья.

Рабочий, провожавший меня с явочной квартиры, негромко свистнул. Ему ответили из темноты осторожным покашливанием. От забора отделились какие-то тени, три человека выступили из темноты и подошли к нам:

— Павел, ты?

— Я. Оратора привел. Скоро пойдут?

— Сейчас...

— Организовали все?

— Как же! Васька в замок глины набил — новых ворот не откроют, все сюда повалят.

— А наши?

— Здесь мы трое, у ворот двое, остальные с ночной сменой впереди подойдут... Патрули на местах. Старик против участка на ларе сидит, семечки щелкает, на него никто не подумает,

а от него цепью с угла на угол... Одним словом — полный порядок!

— Ну, занимай позицию! Ты, Федя, за канаву становись, я посреди дороги стану, вы — по бокам. Сперва только своих задерживать. А когда я скажу — стой! — рука с рукой спешимся... И уж ни с места. Да ты, Федя, конец то цепи крепче держи, — много народу полем пойдет, так чтобы не упустить.

Павел, от которого на явке я напрасно старался получить толковый совет, о чем говорить, здесь, распоряжался уверенно и спокойно, как командир выстраивающий свой отряд к бою. Заняли «позиции». Я остался в тени, у забора. Справа спешно подошли к нам два человека. Шепнули Павлу:

— Идут! — и встали по краям дороги.

Теперь издали доносился невнятный шум. Мимо нас проходили согнутые фигуры. Шли все в одном направлении, справа налево. Кучка людей на дороге и по сторонам от нее заметно росла. Стоявший рядом со мной человек шепнул:

— Остановить бы! А то все пройдут...

Другой голос ответил:

— Павел укажет, — вот когда пойдут потуже...

Меня крайне занимали эти приготовления, а о том, что мне предстоит сейчас говорить речь, я совершенно забыл.

Теперь люди шли густой толпой, валяли стеной. Вдруг с дороги раздалась команда:

— Стой!

И будто живая стена выросла поперек дороги. Толпа остановилась. Повидимому, сзади напирала. Получилась давка.

Раздавались сердитые окрики:

— Чего там стали? Нашли, сволочи, время. Дня им мало!

— Подождите, товарищи! надрывался Павел: Сейчас оратор говорить будет.

Но недовольные голоса возражали:

— Домой пора! Чего посреди дороги стали?

— Да недолго, товарищи! кричал Павел: из города оратор приехал. . . Послушайте!

— А ну, пускай говорит!

— Не шуми там, дай слушать!

Я сделал несколько шагов вперед, вглубь толпы. Попал обеими ногами в лужу, прикрытую снегом, почувствовал вокруг себя тяжелое дыхание, запах пота и копоты, и начал речь.

Начал с ответа недовольным. Говорил, что конечно, пора идти по домам. Кому охота стоять посреди дороги в темную ночь, в слякоть и стужу, да еще на тощий желудок, да еще после целого дня работы?

— Верно! поддакивали из толпы.

Затем, перешел к вопросу, почему приходится нам устраивать собрания ночью, среди пустырей, тайком, когда мы хотим поговорить о том, как бы улучшить жизнь рабочего люда.

Говорил я без всякого плана, но сами собой набегали нужные слова, понятные толпе. Слушали с глубоким вниманием. Изредка подтверждали:

— Верно! Правильно!

Издали донесся пронзительный свист. Кто то крикнул:

— Казаки!

Толпа в страхе шарахнулась во все стороны, — по дороге, к заборам, в поле.

60

— Нет никаких казаков! кричал Павел: стойте, товарищи! Оратор еще не кончил.

Сперва и я кричал вместе с ним, успокаивая, останавливая толпу. Но почувствовав, что так я скоро останусь без голоса, замолчал и стоял рядом с Павлом на дороге, дожидаясь, когда уляжется паника и рабочие соберутся вновь.

И, действительно, вновь собрались все. Толпа была теперь не меньше, чем вначале. Я продолжал речь. Говорил о только что пережитых минутах страха.

— Ведь и впрямь могли налететь казаки, избили бы, покалечили бы, иных, быть может, положили на месте. И никакого суда, никакой управы!

Говорил о бесправии рабочего класса, о страхе, который внушает он хозяевам жизни, о революционной борьбе, — говорил самые простые вещи, которые подсказывались обстановкой этого ночного митинга.

Когда я кончил, пожилой рабочий, стоявший рядом со мной, громко сказал, обращаясь к товарищам:

— А ведь все правда, все святая правда!

Он был очень высок ростом, на голову с плечами выше меня, с морищиным, закоптелым лицом, с сильной проседью в голове. В самом начале я заметил его, — он громче других выражал недовольство тем, что посреди дороги задерживают людей.

Теперь он наклонился ко мне, с целовкой лаской положил мне на плечо свою огромную руку и сказал:

— Спасибо, товарищ!

Другие тоже благодарили, просили приезжать на завод¹⁾.

Павел весело крикнул:

— А теперь по домам! Другой раз на дворе митинг устроим.

— Устраивайте! Дело хорошее.

Толпа медленно потекла по дороге, в сторону цепи фонарей, мелькавших сивозь мглу вдаль, над Шлиссельбургским трактом.

За углом нас ждала организаторша подрайона. От нее я узнал, что успех митинга полный: было свыше тысячи человек, речь длилась больше часу, все рабочие очень довольны...

Но, наверное, ни один из моих слушателей не уносил с этого митинга такого глубокого впечатления, как то, которое оставила во мне эта толпа усталых, измученных людей, бредущих среди холодной, мглистой ночи из закоптелых мастерских в убогие жилища.

* * *

На следующий день тов. Антон спросил меня, не хочу ли я взять рабочий пропагандистский кружок.

— Охотно.

— В таком случае, мы дадим вам кружок в самом передовом цехе самого лучшего завода. Медницкая мастерская Семяниковского завода за Невской заставой! Только вы, пожалуйста, хорошенько... По большевистски!..

И тов. Антон, сжав кулак, продемонстрировал передо мной, как следует вести пропаганду.

¹⁾ Не помню, с какого именно завода были рабочие на этом митинге.

Затем, он вручил мне гектографированную программу занятий. Весь курс пропаганды разбивался на 10 лекций; первая лекция касалась самых общих вопросов, — чуть ли не происхождения нашей планеты; содержания следующих восьми бесед я точно не помню, но помню прекрасно, что десятая заключительная лекция была посвящена вопросу о расколе в партии и критике мелкобуржуазной природы меньшевизма.

Прочитав программу, я спросил представителя Петербургского Комитета, имею ли я право отступить от этого плана занятий.

— А что? изумился тов. Антон: Разве программа нехороша? Все в ней есть. Вот, смотрите! И он начал читать ее вслух. Я перебил его:

— Мне этот план не нравится, и я не смогу точно придерживаться его.

Усы тов. Антопа опустились к земле. Подумав, он сказал:

— Ну, ладно! Представьте свой план... Если ничего такого там не окажется, то мы посмотрим...

Когда я представил тов. Антону свой проект программы кружковых занятий, он нашел в ней лишь один недостаток: в ней не было вопроса о фракционных разногласиях. Зависело это от того, что не будучи сам знаком с этими разногласиями, я положительно не знал, как объяснить рабочим преимуществу большевизма перед меньшевизмом.

Перечтя мой конспект раза три с начала до конца, тов. Антон пропел, наконец:

— Это ничего. На фракционные темы у вас тов. Владимир будет читать.

— Это кто?

— Организатор подрайона. Он и на ваших лекциях будет присутствовать...

И я получил явочный адрес кружка.

Первое собрание кружка было назначено в ближайшее воскресенье. На боковой улице, в стороне от главного транта, я легко разыскал указанный в явке домик. Дверь открыл молодой человек, опрятно, почти по городскому одетый, — только в высоких сапогах и в рубашке с мягким воротом. Я был немного удивлен, узнав, что он слесарь по меди и один из членов моего кружка.

Разговор между нами не клеился. Я спросил рабочего, сколько человек в кружке, и какова их подготовка. А он, ответив довольно неопределенно, спросил меня, в свою очередь, играю ли я на балалайке.

Я ответил, что не играю, и хотел вернуться к делу. Но рабочий заметил:

— Хороший инструмент!

И сняв со стены балалайку, принялся трепать, подбирая мотив марсельезы.

Так как я, отправляясь в рабочий кружок, заранее настроился на торжественный лад, то эти музыкальные упражнения показались мне весьма неуместными. Немного погодя пришел еще другой рабочий — молодой, безусый парень — и мы втроем пошли в кружок. Комната, где происходило собрание, была довольно просторная, с огромной печью по середине. Для меня был приготовлен стул у окна; подле, на столе, был поставлен стакан холодного чая. Слушатели сидели на лавках и табуретах, некоторые стояли в проходе между печью и стеной.

Слушали, как будто, внимательно, но мне не удалось вызвать рабочих на вопросы и закончить лекцию непринужденной беседой. И потому у меня осталось впечатление, что лекция моя не очень понравилась слушателям.

Прежде чем расходиться, назначили день следующего собрания. Один из рабочих спросил:

— Опять в воскресенье соберемся?

Но другой возразил:

— В то воскресенье нельзя: 2-го кто придет?

Следующее воскресенье, действительно, приходилось на 2-ое октября, но я никак не мог сообщить, чем это мешает собранию пропагандистского кружка. Спрашивать об этом я постеснялся, но, со своей стороны, предложил:

— Может быть, соберемся в субботу?

Рабочие переглянулись, — иные улыбались, другие открыто смеялись. Токарь, спрашивавший меня о балалайке, ответил за всех:

— В субботу совсем нельзя. 1-го и пробовать не стоит.

Опять я ничего не понял. Назначили кружок на понедельник. Провожая меня до паровой конки, токарь пригласил меня зайти с ним в портерную. Немного конфузясь, я принял приглашение.

В портерной токарь спросил бутылку пива. Вместе с пивом нам подали два крошечных блюдечка с соевыми баранками и парой горошин на каждом.

Говорили о Семьяниковском заводе. Между прочим, я спросил моего собеседника:

— Почему это ни в воскресенье, ни в субботу нельзя собрать кружок?

Токарь на вопрос ответил вопросом:

— Да как же его соберешь, когда в субботу получка, а 1-го у сдельщиков полный расчет за месяц?

Для меня все это было китайской грамотой.

Второе собрание кружка тоже прошло довольно вяло. Не знаю, что было тому причиной, — и ли не мог освоиться с ролью пропагандиста, или время было неподходящее для кружковых занятий, — но только рабочие слушали меня, как ученики на уроке, и когда я предлагал им задавать вопросы, выходило, что я тяну их за язык.

Впрочем, после кружка немного разговорились (о газетных новостях), и я почувствовал себя среди рабочих менее чужим, чем в прошлый раз.

Провожая меня, товарищ спросил, не хочу ли я выпить с ним водочки. Я отказался, но сразу испугался, как бы мой отказ не обидел его. Однако рабочий не обиделся и сказал, что и сам, собственно, пить не любит, и что партийному человеку лучше к монополюшке даже близко не подходить, — чтобы не сказали про него, что он Николая поддерживает.

На этом мы расстались.

* * *

В понедельник, 10-го октября, я в третий раз приехал в свой кружок на Невской заставой.

Василий встретил меня в большом волнении:

— У нас здесь такая провокация пошла, что и представить невозможно.

И он рассказал мне, что утром по заводам разнесся слух, будто в Петербурге уже объявлена всеобщая забастовка. Рабочие заводились, по-

бросали работу, высыпали во двор. Никто не знал, кем объявлена забастовка, и какие выдвинуты требования. Да и мало интересовались этими вопросами, добивались лишь одного — узнать, происходит ли в городе забастовка, или нет. Пошумев во дворе, понемногу успокоились и принялись за работу.

— Как думаете, — товарищ спрашивал меня Василий, — откуда эти слухи идут?

— А вы не заметили, кто первый поднял агитацию? Может быть, эсеры? Или анархисты?

— Не похоже. Мы спрашивали эсеров, — они не больше нашего знают. А анархистов у нас совсем нет...

— Значит, полицейская провокация! — решил я.

— Так и мы думаем, поддакнул — Василий.

Пошли мы с ним на квартиру, где должен был собраться кружок. К заготовленной лекции мне не пришлось приступить, — ни о чем другом, кроме как о забастовке, рабочие не хотели слушать.

В это время — под вечер 10-го октября — всеобщая всероссийская забастовка уже началась и с каждым часом распространялась все шире и шире.

Ни одна партия не может перед судом истории приписать себе инициативу этой забастовки. Началась она так, как занимается пожар в высохшем от летнего зноя лесу: откуда то залетела случайная искра, — и запылал необъятный костер, и по воле ветра летят вдаль новые искры, рождая новые пожары. Откуда взялась первая искра — из плохо затоптанного костра пастухов, из трубки прохожего, из мчащегося мимо паровоза, или это молния уда-

• 9 Войтинский.

рила с неба — не все ли равно? Знойными днями, засухой подготовлен лесной пожар, — и здесь единственное объяснение его.

Сигнал к октябрьской забастовке дала Московско-Казанская железная дорога. Железнодорожники забастовали, не выставя никаких общеполитических требований, не пытаясь связать свое выступление с общепролетарским движением, не справляясь с мнением революционных партий, не посоветовавшись даже со своим центром, — с заседавшим в то время в Петербурге делегатским железнодорожным съездом.

Забастовали они, в значительной степени, по недоразумению, на основании неверных слухов о разгоне петербургского съезда и аресте его членов.

Почему забастовка началась именно в Москве, а не в Петербурге? Вероятно, потому, что в Москве атмосфера была более накалена, и возбужденное настроение рабочих масс не находило здесь выхода в митингах с их горячими речами, после которых можно было спокойно расходиться по домам...

Собственно, с середины сентября забастовки в Москве не прекращались.

19-го сентября началась здесь забастовка наборщиков типографии Сытина¹⁾. Руководство борьбой взял в свои руки полулегальный «Союз московских типо-литографских рабочих», — и к 24-му забастовка охватила почти все московские типо-

¹⁾ Наборщики требовали, между прочим, повышения сдельной платы «за каждую тысячу букв набора, не исключая и знаков препинания». Это дало повод шутке: «все дело началось с запятой»...

64
графии. Из солидарности, к печатникам примкнули хлебопеки и целый ряд фабрик и заводов. Вмешалась полиция. Начались уличные столкновения. Были пущены в ход войска. Появились баррикады¹⁾.

В конце сентября забастовали, в виде протеста против насилий казаков над рабочими, мастерские Московско-Брестской железной дороги.

Пошли разговоры о всеобщей железнодорожной забастовке. Около этого времени в Москве выступил «Совет Депутатов рабочих печатного дела». На собрании представителей печатников, деревообделочников, металлистов, табачников и других профессий было решено расширить эту организацию и образовать общий Совет Рабочих всей Москвы...

А в Петербурге в эти дни было сравнительно спокойно. Шли митинги в высших учебных заведениях, но не было уличных столкновений, а до начала октября не было и забастовок.

Лишь 2-го октября, из солидарности с московскими рабочими печатного дела, забастовали петербургские типографии. Но эта забастовка считалась чисто профессиональным делом печатников, продолжалась всего лишь три дня и закончилась в заранее назначенный час принятием резолюции о несвоевременности забастовок по сочувствию и о необходимости беречь силы для решительного боя.

Вообще, в Москве уж давно лилась кровь, а мы, в Петербурге, все еще говорили и словами сотрясали перихонские стены царизма.

¹⁾ Особенно отличились в борьбе с полицией булочники Филиппова.

Но наши слова, в конце концов, не остались бесплодными.

С 20-го сентября в Петербурге заседал съезд железнодорожников, невинный архи-легальный съезд, созданный начальством для обсуждения неспонного устава. Рабочих на этом съезде было не очень много, преобладали служащие, — чиновники-управленцы, люди 20-го числа. В начале никто не придавал этому съезду большого значения. Но постепенно в его среду проник революционный дух. Расширились рамки прений. Появились не предвиденные начальством требования. Экономические и узко-профессиональные вопросы отошли на задний план перед лозунгами политического характера. И по мере того, как революционизировался пенсионный съезд, его общественное значение росло, он все больше приковывал к себе внимание миллионной массы железнодорожных тружеников, все больше становился центром собирання их сил. Умеренные и робкие члены съезда, увидев, в какую попали они кашу, поспешили ступешаться. Вперед выдвинулись люди революционно настроенные, смелые, энергичные.

Министерство подумывало о том, чтобы распустить этот съезд; охранка готовилась расправиться с коноводами.

Но прежде, чем министерство и охранка сделали решительный шаг, в Москве распространились слухи, будто в Петербурге уже начались аресты железнодорожников, — и, в виде протеста, служащие и рабочие Московско-Казанской железной дороги прекратили работу.

Это было в пятницу, 7-го октября. Суббота прошла в митингах, сходках, совещаниях. Между прочим, в этот день в одном из петербургских высших учебных заведений, — кажется, на курсах Лесгафта, — происходило собрание служащих петербургского железнодорожного узла. Решено было приступить к организации всероссийского железнодорожного союза, с тем, чтобы впоследствии предъявить правительству ультиматум и, в случае надобности, поддержать его всеобщей железнодорожной забастовкой. И любопытная подробность: не только о забастовке, но и о предъявлении требований правительству здесь говорилось, как о чем то очень и очень далеком.

А уже на следующий день, в воскресенье, 9-го, делегатский съезд разослал по всем железнодорожным линиям телеграммы с формулировкой требований, которые должны быть предъявлены правительству: 8-часовой рабочий день, гражданские свободы, амнистия, Учредительное Собрание.

Впрочем, это не были лозунги забастовки: делегатский съезд забастовки не объявлял и в это время даже не определил еще своего к ней отношения.

Забастовка развивалась так же, как она началась, — стихийно, без всякого руководства из центра, без всякого плана.

В понедельник, 10-го, с утра забастовал весь московский узел, и побсжал по железнодорожным линиям во все концы России мощный волевой ток — бастовать!

В этот же день стали почти все фабрики и заводы Москвы, Харькова и Ревеля.

11-го октября забастовали Смоленск, Екатеринослав, Минск, Лодзь. Железнодорожная забастовка разливалась все шире и шире. В проведении ее железнодорожники совершенно неожиданно обнаружили огромную решимость и твердость. Снимали рельсы, ломали семафоры, опрокидывали локомотивы. Было несколько случаев, когда поезд с машинистами и поездной бригадой из штрейкбрехеров прорывался сквозь стачечную заставу, — за ним снаряжалась настоящая погоня, во все концы летели телеграммы: Изловить, остановить! И, в конце концов, прорвавшийся поезд попадал в руки забастовщиков¹⁾.

С железных дорог забастовка, естественно, перекинулась на телеграф. Уже 11-го забастовали телеграфисты в Харькове, к ним поспешили примкнуть телеграфные служащие других городов.

Но Петербург, который должен был нанести последний, решительный удар самодержавию, все еще медлил, все еще обсуждал «про и contra».

Правда, накануне, 10-го октября, Петербургская Группа (меньшевистская) Р. С.-Д. Р. П. решила призвать петербургских рабочих присоединиться ко всеобщей забастовке и выбрать представителей в «Рабочий Комитет». Но агитационный аппарат группы был недостаточен, и рабочие массы не сразу узнали об ее решении. Да и решение было какое то неопределенное: оставался неясен характер забастовки, — была ли это демонстрация? или средство давления на правительство? или переходная ступень к более решительным формам

¹⁾ Троцкий в «Начале» дал яркое изображение такой «погони» забастовки за прорвавшимся поездом.

56

борьбы? и на какой срок объявлялась забастовка? каковы были ее лозунги? какую роль должен был играть в ней «Рабочий Комитет»?

11-го октября происходили переговоры делегатов железнодорожного съезда с правительством. Трудно сказать, могли ли в этот час Витте и Хилков найти слова, которые удовлетворили бы рабочих. Во всяком случае, они таких слов не нашли.

Хилков уверял делегатов, что политикой он не занимается и понятия не имеет о том, что делают в России охранка и жандармерия. Витте, повторяя зады зубатовской демагогии, пытался убедить рабочих, что у них с правительством общие интересы — против хозяев. «Мы погибнем, говорил он делегатам, но на смену нам придет буржуазия, — вам же будет хуже».

Из этих речей делегаты сделали двойной вывод: 1) что правительство боится всеобщей забастовки, и 2) что министры хотят их опутать словами и обмануть.

Поздним вечером собрание железнодорожников в Актовом Зале Университета вынесло резолюцию о присоединении петербургского узла ко всеобщей забастовке.

12-го Петербург забастовал. Железнодорожники забастовали согласно решению, принятому накануне митингом. Фабрики и заводы примкнули ко всеобщей забастовке стихийно, без всякого предварительного решения.

Началось с отдаленных заводов Невского района. Оттуда забастовка распространилась вниз по течению Невы, перекинулась на другой берег, на Охту и на Выборгскую сторону. Толпы забасто-

67

вавших рабочих двигались от завода к заводу. Тревожно ревели гудки, били тревогу заводские колокола.

— Бросай работу! Забастовка!

И рабочие, будто ожидавшие этого призыва, поспешно складывали инструменты, выходили во двор. Кто нибудь поднимался на крыльцо конторы, на штабель дров, на бочку, или просто на уличную тумбу, но агитировать не приходилось. Речи были короткие, редко длиннее минуты:

— Товарищи! Вся Россия бастует... Неужто нам отставать от других?

И толпа выливалась из заводских ворот на улицу и катилась дальше к соседним заводам.

Полиции нигде не было видно. Заводская администрация не пыталась противиться движению. Инженеры и мастера лишь просили рабочих прибрать поаккуратнее инструменты, да позаботиться о паровых котлах. Но рабочие и сами обнаруживали большую заботливость о заводском имуществе.

Мне запомнилась одна сценка. Утром, на явке, мы узнали, что начинается забастовка. Немедленно рассыпались по районам. Не сговариваясь, без директив центра, знали, что нужно делать.

Я поехал за Невскую заставу. Здесь ходил с толпой с завода на завод, снимая еще не забастовавших рабочих. Зашли во двор небольшого ящичного заводика. Двор длинный, узкий; мастерские расположены в верхних этажах. Чтобы вызвать вниз рабочих из мастерских, пришедший с нами заводской парнишка лет 15 принялся звонить в заводской колокол. Звонил он с таким усердием,

что вырвал из стены крюк, к которому была привязана веревка колокола, а затем оборвал и веревку. Это вызвало общее неудовольствие рабочих, и парня прогнали прочь:

— Чего ты здесь шляешься? Чужое добро ломаешь.

А вырванный крюк вновь тщательно забили в стенку.

В этот день, 12-го октября, забастовка охватила Курск, Полтаву, Самару, Саратов.

Газеты продолжали выходить.

Они были полны известий об успехах движения. И реакционные органы, в наибольшей степени перепуганные событиями, делали, пожалуй, для прославления борьбы пролетариата еще больше, чем прогрессивные газеты.

В правых кругах начиналась паника. Петербургская Городская Дума приняла резолюцию о необходимости немедленно удовлетворить назревшие экономические и политические требования населения.

13-го октября забастовка сделала новые успехи, — забастовал петербургский телеграф, стали электрические станции, прекратили работу печатники. К забастовке примкнули служащие Петербургской Губернской Управы, банков, окружного суда. Забастовали некоторые гимназии и реальные училища. Вынесло резолюцию о присоединении к забастовке Центральное Бюро Союза Союзов.

Вечером Петербург погрузился во тьму. По неосвещенным улицам города двигались смутно гудящие толпы. Из уст в уста перебегали тревож-

58

ные вести. Все ждали чего то. У рабочих настроение было приподнятое, праздничное.

В этот день выступил на сцену Совет Рабочих Депутатов.

* * *

Казалось бы, что могло быть естественнее мысли о создании представительного, избранного рабочими органа для руководства забастовкой? Ведь и на более ранних ступенях рабочего движения при каждой значительной стачке образовывался для руководства ею стачечный комитет.

Но к созданию Петербургского Совета Рабочих Депутатов мысль рабочих и их руководителей пришла другим путем.

Когда 10-го октября меньшевистская Группа выносила решение призвать рабочих к избранию «Рабочего Комитета», она имела в виду создать нечто в роде тех «рабочих агитационных комитетов», идея которых была выдвинута еще весной 1905 года меньшевистской конференцией и с тех пор неустанно развивалась и популяризировалась на столбах «Искры».

Эта идея входила, как необходимое звено, в план кампании, рассчитанной на то, чтобы в ходе выборов в Государственную Думу заложить основы широкой рабочей партии.

«В случае осуществления созыва Государственной Думы, писала «Искра» 1-го июня 1905 г., начинается новый фазис русской революции, и социал-демократия должна быть готова встретить его во всеоружии... Необходимо теперь же, в связи с предстоящими выборами в Думу, развить самую

широкую агитацию и заложить основы широкой рабочей партии... Полулегальные, самовольно образующиеся рабочие агитационные комитеты должны быть образованы немедленно. В тесной связи с нашей нелегальной организацией они должны пустить в ход все наличные в рабочем классе силы для агитации за созыв Всенародного Учредительного Собрания и для всестороннего использования всей избирательной кампании, какие бы классы и группы в ней ни участвовали... Эти агитационные комитеты должны стать центром тяготения широких рабочих масс и связать их с подпольной партией. Ненародным выбором по земскому положению 1864 г.¹⁾ они должны противопоставить идею народных выборов — всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием. Они должны звать все слои населения — городского и сельского — немедленно приступить к осуществлению этой идеи и одновременно с тем, как будут выбираться «законные» депутаты, выбрать своих собственных действительных представителей. Уездные и губернские собрания таких представителей революционного народа, с возможностью послыжки ими своих депутатов на общероссийское собрание, могут создать мощную организацию для всего революционного движения, направленного на завоевание Всенародного Учредительного Собрания. Они создадут как бы целую сеть представительных органов революционного

¹⁾ Земское положение 1864 г. было принято Бутыгинским совещанием за основу проекта положения о Государственной Думе.

самоуправления с революционным всероссийским представительным собранием во главе» («Искра», № 101, «К современному положению»).

В № от 18 июля «Искра» выясняла отношение проектируемых ею органов революционного самоуправления к идее всеобщей забастовки: забастовка в момент созыва Думы мыслится, как одно из средств поддержки пролетариатом этих органов и как возможный пролог восстания, «которое именно в организации революционного самоуправления должно найти достаточную опору для превращения в восстание всенародное» («Искра», № 106, «Оборона или наступление?»).

В дальнейшем «Искра» еще яснее подчеркивала, что «органы революционного самоуправления должны сыграть решающую роль в момент восстания, связывая силы пролетариата с силами других общественных классов».

«Организация революционного самоуправления, писала «Искра», — это и есть единственный способ действительной «организации» всенародного восстания. Кто отвергает этот путь, тот, в сущности, отвергает и самое всеародное восстание, подменяя его восстанием отдельных классов и групп, или, что еще хуже, группок и кружков» («Искра», № 108, «Наша тактика и Государственная Дума»).

Ясно, что смешать эти «органы революционного самоуправления» или предшественные созданию их «рабочие агитационные комитеты» со «стачечным комитетом» не было никакой возможности.

Петербургская меньшевистская Группа и не была повинна в таком смешении понятий. Для нее

«забастовка» и «выборы депутатов в Рабочий Комитет» — были два параллельных, независимых друг от друга лозунга, которые лишь случайно были брошены одновременно в массы.

Согласно с этим, в меньшевистских кругах и позже продолжали смотреть на Петербургский Совет Рабочих Депутатов, как на «орган революционного самоуправления».

«Начало» писало по этому поводу:

«Организация революционного самоуправления — вот лозунг, который выдвинула полгода тому назад наша общерусская партийная конференция¹⁾. В то время нам говорили, что этот лозунг утопический, что пока самодержавие не сломлено окончательно победоносным восстанием, революционное самоуправление немыслимо, особенно в крупных политических центрах. Сама жизнь разрешила спорный вопрос. Совет Рабочих Депутатов есть первый блестящий опыт революционного самоуправления пролетариата» («Начало», № 2, «Совет Рабочих Депутатов и Наша Партия» Мартынова).

Это понимание природы Совета Рабочих Депутатов с самого начала двигало вновь создаваемую организацию в центр споров между меньшевиками и большевиками. Ибо большевики относились к меньшевистской идее «революционных самоуправлений», как к вредной утопии, и видели в этом плане пошеху вооруженному восстанию.

«Организация революционного самоуправления, выбора народом своих уполномоченных, писал «Пролетарий», есть не пролог, а эпилог

¹⁾ Речь идет о фракционной меньшевистской конференции.

восстания. Ставить себе целью осуществить эту организацию теперь, до восстания, значит ставить себе нелепую цель и вносить путаницу в сознание революционного пролетариата. Надо сначала победить в восстании (хотя бы в отдельном городе) и учредить временное революционное правительство, чтобы это последнее, как орган восстания, как признанный вождь революционного народа, могло приступить к организации революционного самоуправления («Пролетарий», № 12, «Бойкот Булыгинской Думы и восстание»).

Это недоверие к «органам революционного самоуправления» большевики перенесли и на Совет Рабочих Депутатов, как на учреждение, первоначально задуманное меньшевиками в виде искровского «рабочего комитета».

Само собой разумеется, о таком недоверии не могло бы быть речи, если бы меньшевистская Группа в своем решении от 10-го октября просто сказала:

— Начинается всеобщая забастовка. Создадим же для руководства ею стачечный комитет, включающий депутатов от всех бастующих предприятий и профессиональных союзов!

* * *

13-го октября у Совета Рабочих Депутатов еще не было имени. В этот день в Технологическом Институте собралось человек 10—15 делегатов от заводов Невского района, избранных рабочими по предложению меньшевиков.

Здесь было окончательно решено организовать «Рабочий Комитет» на основе выборов одного делегата от каждых 500 ч. рабочих — норма, установленная при выборах в комиссию сенатора Шидловского.

Собрание выработало текст воззвания к петербургским рабочим:

«Всероссийская забастовка началась. Мы, депутаты разных петербургских фабрик и заводов, обсудив положение, призываем всех рабочих поддерживать великое дело борьбы за освобождение, за счастье народа и присоединяться к всеобщей забастовке».

Далее делегаты заявляли:

«Мы постановили объединить руководство движением в руках общего Рабочего Комитета».

По смыслу этого воззвания, как будто, речь шла о создании стачечного комитета. Но когда, на следующий день, рабочие делегаты собрались вновь¹⁾, предметом их суждения стали вопросы, не имевшие прямого отношения к стачке, но тесно связанные с искровской идеей избранных явочным порядком «органов революционного самоуправления». Начались разговоры о том, как бы отчетливее противопоставить образующийся Рабочий Комитет... цензовой Городской Думе.

После долгих и горячих споров собрание постановило отправить в Городскую Думу особую делегацию со следующими требованиями:

¹⁾ На этом собрании было представлено 40 заводов, 2 фабрики и 3 профессиональных союза.

«1) немедленно принять меры для регулирования продовольствия многотысячной рабочей массы;

«2) отвести помещения для собраний;

«3) прекратить всякое довольствие, отвод помещений, ассигнования на полицию, жандармерию и т. д.;

«4) указать, куда израсходованы 15.000 рублей, поступившие в Думу для рабочих Нарвского района».

Такова была «платформа», с которой решил выступить представительный орган петербургского пролетариата.

Но рабочие делегаты, прибывшие в Городскую Думу, не были выслушаны ею. Гг. гласные, ничего не знавшие о только что зародившемся «Комитете», приняли делегатов без большого почтения и предложили им придти через два дня на очередное думское заседание.

А между тем, в Рабочий Комитет час от часу вливались новые силы, он становился действительным центром объединения петербургских рабочих. 15-го октября на его заседание явилось уже 226 выборных депутатов от 96 заводов и фабрик.

Собравшиеся все еще не знали точно, что именно представляют они собой, — стачечный комитет или «орган революционного самоуправления»?

Как стачечный комитет, они приняли следующее обращение к петербургскому пролетариату:

«Товарищи! Тех рабочих, которые не желают, несмотря на все наши убеждения и постановления,

прекратить работу, снимайте с работы. Кто не о нами, тот против нас, и к ним Комитет постановил применять крайнее средство, — силу».

Как «орган самоуправления», собрание вновь занялось вопросом об обращении к Городской Думе.

Требования, выработанные накануне, подверглись суровой критике. Решено было пополнить их двумя новыми пунктами. 5-ый пункт был формулирован так:

«Выдать из имеющихся в распоряжении Думы народных средств деньги, необходимые для вооружения борющегося за народную свободу петербургского пролетариата и студентов, перешедших на сторону пролетариата¹⁾. Руководство этой частью народной революционной армии должно находиться в руках самого пролетариата. Суммы должны быть переданы общему Рабочему Совету».

Наконец, последнее, 6-ое требование заключалось в том, чтобы из здания городского водопровода были удалены войска, введенные туда для предупреждения забастовки.

С этими требованиями рабочая депутация вторично явилась в Городскую Думу 16-го октября²⁾. На этот раз гг. гласные приняли представителей пролетариата, со вниманием выслушали их речи и заботливо проводили их до улицы, предупреждая возможность ареста их толпившейся около Думы и в думском здании полицией.

¹⁾ Последние слова — отголосок слухов об «академическом легионе», который в это самое время формировался в Университете под командой Никольского.

²⁾ Вместе с нею явилась депутация Союзов Союзов, поддерживавшая требования рабочих.

В конечном счете, вся эта ватя с хождением в Думу ни к чему не привела и оставила у рабочих неприятный осадок.

Впрочем, в налетевшем вихре событий, об этой истории скоро забыли.

Рабочий Комитет в первые дни как бы нащупывал почву, искал себя, искал те формы, в которые должна была вылиться его работа.

На пятый день своего существования, 17-го октября, он почувствовал, что задача его — перековывать в единую волю смутные и порою противоречивые порывы различных пролетарских групп и быть выразителем этой единой воли.

В этот день представительный орган петербургских рабочих получил то имя, под которым он вошел в историю, имя Совета Рабочих Депутатов¹⁾.

В это время всеобщая забастовка, до сих пор непрерывно нараставшая, достигла кульминационного пункта, подошла к критической точке.

* * *

В предыдущей главе я говорил уже о тех военных приготовлениях, к которым с 13-го октября приступило правительство, говорил и о знаменитом Треповском приказе — «патронов не жалеть и холостых залпов не давать».

Рабочие не были напуганы ни этими приготовлениями, ни угрозами. Верили, почему то, что

¹⁾ Кажется, это название было заимствовано из практики московского движения в сентябре.

72

солдаты стрелять не станут. Приказ градоначальника вызвалронические комментарии:

— Мы и то голову себе ломали, — почему это он до сих пор не стреляет? Думали, нас жалеет... А выходит, это он патронов жалел, — жизнь то человеческая для него трех копеек не стоит.

Повидимому, в правительственных кругах в эти дни тоже преобладало убеждение, что войска не будут стрелять в народ.

Трудно сказать с уверенностью, насколько правильно было это представление о настроении солдат. Легкость, с какой полтора месяца спустя была раздавлена попытка восстания в Москве, невольно вызывает сомнения в революционности солдатской массы в октябрьские дни. Эта масса, несомненно, была охвачена смутным брожением, привычная дисциплина в ее среде была поколеблена, — но в какой степени? настолько ли, чтобы при роковом приказе «пли» штыки в ее руках могли обратиться против командиров?..

Во всяком случае, в буржуазных и интеллигентских кругах в те дни преобладало противоположное мнение: считали, что приказ о стрельбе может быть отдан с часу на час и что он будет исполнен войсками. Но здесь — быть может, также, как в правительственных кругах, — царило преувеличенное мнение о силах революционеров, о степени их подготовки к восстанию. Поэтому, вооруженное столкновение казалось здесь неизбежным, но исход его представлялся сомнительным, неизвестным.

Нужно отметить, что в первые дни забастовки буржуазно-интеллигентские круги не только со-

чувствовали рабочим, но и выражали готовность встать на их сторону в предстоявшем вооруженном столкновении с правительством, то есть в предстоящем восстании.

Эти настроения не ограничивались рамками Союза Союзов, который не имел собственной политической физиономии и в октябрьские дни подпал под влияние социалистических партий. На сторону рабочих готовы были встать и определенно буржуазные группировки, имевшие свою программу, свою тактику, свое мировоззрение, резко отличные от программы, тактики и мировоззрений социалистов, — группировки, еще недавно яростно боровшиеся с социалистами в вопросе о Булыгинской Думе.

В этом смысле характерно постановление, принятое 14-го октября заседавшим в Москве учредительным съездом конституционно-демократической партии:

«В настоящее время во всей России происходит беспрецедентное по размерам и по характеру движение организованных рабочих масс¹⁾. Движение это неразрывно связано со всем предшествовавшим ходом борьбы за свободу, и для сторонников прав народа не может быть сомнений в том, как следует отнестись к совершающимся событиям.

«...Требования забастовщиков, как они формулированы ими самими, сводятся, главным образом, к немедленному введению основных свобод,

¹⁾ Это определение движения не точно. Массы, участвовавшие в забастовке, не были организованы. Это было движение, возникшее и протекавшее стихийно и лишь извне, издали, казавшееся организованным.

свободному избранию народных представителей в Учредительное Собрание на основании всеобщего, равного, прямого и тайного голосования и общей политической амнистии¹⁾. Не может быть ни малейшего сомнения, что все эти цели — общие у них с требованиями конституционно-демократической партии. В виду такого согласия в целях, учредительный съезд конституционно-демократической партии считает долгом заявить свою полную солидарность с забастовочным движением...

«От правительства зависит открыть широкий путь этому торжественному шествию народа к свободе — или превратить его в кровавую бойню... Конституционно-демократическая партия предоставляет себе, смотря по ходу событий, принять все те меры, которые будут в ее средствах и в ее власти, чтобы предупредить возможное столкновение, но, удастся ли ей это или нет, она наперед отождествляет себя с народными требованиями и кладет на весы народного освобождения все свое сочувствие, всю свою нравственную силу и окажет ему всяческую поддержку».

Язык этого заявления, само собой разумеется, не тот, каким говорили революционные партии и каким, несколько дней спустя, должен был заговорить Совет Рабочих Депутатов. Но политический

¹⁾ В действительности, это были лозунги всего народного движения 1905 г. Но октябрьская забастовка, как таковая, в то время еще не формулировала ни этих, ни других политических требований.

смысл приведенного документа совершенно ясен: это — признание гегемонии рабочего класса в революции и солидаризация с ним в его борьбе — вплоть до высших форм ее.

Так широк был в те дни фронт революции! И нужно ли повторять, что в этом всеобщем сочувствии непролетарских элементов был один из источников чудесной силы октябрьской забастовки!

Чувствуя себя изолированным, покинутым всеми, правительство потеряло веру в себя, в свои силы. Отсюда его нерешительность, которая все шире открывала шлюзы революционному потоку.

16-го октября Петербург представлял жуткую картину.

Было воскресенье. Улицы полны народом. В толпе много рабочих-забастовщиков из окраинных районов.

Высшие учебные заведения оцеплены войсками. Повсюду пешие и конные патрули. На некоторых улицах солдаты выстроены шпалерами вдоль тротуаров. Другие улицы перерезаны поперек сильными караулами. Движение через Дворцовый мост прекращено...

Утром, часов в 10, я пришел в Университет. У входа взвод солдат-гвардейцев. Я вызвал офицера, командовавшего караулом, назвал, показал свое удостоверение, как старосты Университета, и потребовал, чтоб меня пропустили в канцелярию. По приказу офицера, солдаты расступились. В канцелярии я застал Виленкина и еще человек пять старост. Толковали о последних событиях. Меня больше всего волновал вопрос, как собрать нашу

ораторскую коллегия, как связаться с партийными товарищами. На наших глазах, прямо перед окнами университетской канцелярии, уланский раз'езд напал на пробиравшегося в Университет студента. Рубили его шапками. Раненый студент, спасаясь от солдат, пытался перелезть через железную ограду палисады, но упал на камни, обливаясь кровью. Двое из нас выскочили на улицу, стали кричать на солдат. Раз'езд ускочил, студента унесли в соседнюю клинику (раны его оказались не тяжелыми).

Приходили еще люди, — караул пропускал тех, кто говорил, что идет в канцелярию по личному делу. Вести из города были тревожные.

Наконец, мне сообщили, что агитаторская коллегия собирается в Вольно-Экономическом Обществе. Я поспешил туда.

Ни конки, ни извозчиков¹⁾. Пришлось идти через весь город пешком. Повсюду возбужденная толпа, повсюду солдаты. Вокруг Технологического Института, на Загородном и на Забалканском положении кавалось особенно напряженным.

Толпившиеся здесь рабочие узнали меня. Сгрудились теснее. Глаза блестят решимостью.

— Что же, товарищ? Начинать пора! Барикаду, что-ли, строить будем?

По близости мостовая была взрыта для ремонта, около тротуаров кучами лежал булыжник. Десятки рук тянутся к камням.

— Начнем, что ли? Распожайтесь, товарищ!

¹⁾ Извозчики не бастовали, но боялись выезжать на биржу, так как среди них ходил слух, что забастовщики решили резать гужи у появляющихся на улице пролеток.

Опасаясь вызвать столкновение безоружной толпы с войсками и ненужное кровопролитие, я негромко, но настойчиво уговаривал близ стоящих:

— Не спешите, товарищи... Партия уважит, когда придет время решительной схватки... Оставьте камни... Не поддавайтесь на провокацию.

Так добрался до Вольно-Экономического Общества. Здесь, в помещении библиотеки, было уже человек 15 из нашей коллегии.

Сидели на подоконниках, на столе, на сложенных на полу связках книг и газет.

Когда я вошел, ко мне подбежал агитатор-большевик Михаил, парень без малого трех аршин росту. Он был вне себя.

— Ну, что там? — кричал — он: Вы видели?

Лицо у Михаила было бледное, голос истерически срывался.

— О чем вы спрашиваете? — с раздражением переспросил я его: — Говорите по человечески.

— Там, на улице, — указал Михаил на окно: Что там? Вы видели?..

— Ничего там нет. Народу, правда, много... Войска, полиция... А больше ничего.

Коновалов, сидевший на подоконнике, подошел ко мне и дружески ударил меня по плечу:

— Так, товарищ Петров! Вашу руку! Не бабы мы, в самом деле, чтоб истерики здесь вакать!

Женщина, полулежавшая на столе, подняла голову.

— Уже пролилась кровь, — заголосила она, заливаясь слезами: — К вечеру будут горы трупов. А кто

25
виноват? Кто убийца? Кто вызвал этих людей на улицу? Мы, мы, мы!

— Мы убийцы! — вавизгнул Михаил.

— Боже мой! Боже мой! — послышалось из другого угла.

Я почувствовал, что бледнею от злости, и громко сказал:

— Я извиняюсь, господа... Я думал, что здесь коллегия партийных ораторов, а здесь, оказывается, сумасшедший дом. Видно, я не туда попал.

Я повернулся к двери. Но Михаил схватил меня за рукав:

— Пойдите, товарищ Сергей! Хорошо, будем хладнокровны. Будем рассуждать... Хорошо! Но как же быть с Университетом? Ведь там вооруженное выступление на сегодня назначено!..

— Как? Какое выступление? — послышалось со всех сторон.

— Кто назначил?

— Да товарищ Петров назначил, — объяснил Михаил: — Я его и спрашиваю, как теперь быть...

— Это верно? Вы назначили выступление? По какому праву?

Я растерялся и молчал. Меня выручил вошедший в комнату товарищ, — помнится, это был Евгений (Литкенс).

— Ничего товарищ Петров не назначал, — заявил он: А вчера при окончании митинга в Университете все говорили, чтобы сегодня собраться вновь с оружием в руках. И Петров говорил, и я, и Абрам, и Леонид, — все одинаково говорили.

— Мы убийцы! — опять завопил Михаил, закрывая лицо обеими руками.

— Мы убийцы! — прокатилось по комнате.

Справившись со своим волнением, я сказал:

— Вот что, товарищи. Заседание у нас, видно, не состоится. Я уйду. Буду около Университета. Приложу все усилия, чтобы предупредить столкновения и жертвы. А если кровь прольется, никто не скажет, что мы велм людей на смерть, а сами спрятались от опасности.

В подкрепление своих слов я вынул из кармана браунинг, полученный накануне от Комитета, и взвел предохранитель, — жест и пенужный, но соответствовавший настроению минуты.

Михаил кричал что то невразумительное о самоубийстве. Николай и Евгений заявили, что идут со мной к Университету, и мы втроем вышли из библиотеки Вольно-Экономического Общества.

Шли, избегая людных улиц, почти бежали. На Фонтанке нашли извозчика, который, после долгих уговоров, согласился подвести нас до Николаевского моста.

На Университетской набережной было много рабочих. Но не было сплошной толпы, а взад и вперед двигались небольшие кучки. Двигались исключительно по тротуарам, в то время как по мостовой гарцовали казаки. Тут же суетились чины полиции, настойчиво предлагая «публике» не останавливаться, проходить мимо.

Кучка рабочих-семянниковцев остановила нас:

— Что так поздно, товарищи? Народ обижается, что долго ждать заставляют.

— Сегодня не будет ничего, — объявили мы решительно и твердо.

— Как так?

— Отменено!

— Почему?

— Да потому, что не готовы. У вас оружие есть?

— А то как же!

— Покажите.

Из карманов появились на свет Божий пара финских ножей, кастет, короткий револьвер-бульдог.

— Всего то? Этого мало! — отрезал Николай.

— Что же делать теперь? — смущенно спрашивали рабочие, пряча свое убогое оружие.

— Ступайте домой!

— Да тут много наших семянниковцев ... ждут начала...

— Всех с собой уведите!

И мы пошли дальше.

Так до позднего вечера ходили мы по набережной — от Филологического Института до Академии Наук и обратно — уговаривая рабочих, споря с более упрямыми, успокаивая более нервных. И с огромным чувством облегчения следил я за тем, как постепенно таяла, уменьшалась толпа перед Университетом...

В этот день всеобщая забастовка сделала новые успехи.

Оказались тщетны все усилия администрации пустить в ход электрические станции и газовые заводы, и вечером город вновь погрузился в полную тьму.

Зажженные на перекрестках улиц и на площадях костры не только не давали света, но своим красным отблеском лишь подчеркивали царящий кругом мрак.

Военное начальство придумало, как помочь делу: на башне Адмиралтейства установили мощный рефлектор и пустили луч над Невским. Как хвост кометы, протянулась полоса света над городом, вызывая насмешливые замечания со стороны рабочих и сея панику среди обывателей.

* * *

Поздним вечером мне передали из Петербургского Комитета поручение: отправиться на другой день ва Нарвскую заставу, снять с работ один завод, рабочие которого в субботу отказались примкнуть к забастовке. Поручение было не из приятных: район темный и мне незнакомый, явка ненадежная — двое рабочих — Федор и Вася — должны были встретить меня на улице.

Утром, положив в наружный карман пальто свой браунинг, я отправился в район. В назначенном месте никто меня не встретил. На улице былолюдно, рабочие стояли кучками, мирно беседовали. Степенно прохаживались городовки. Проехал мимо казачий раз'езд. Для конспирации я купил у стоявшей тут же старухи на копейку подсолнухов, сел на тумбу и принялся лущить семечки, сплевывая шелуху. Так просидел минут десять, не привлекая ничьего внимания. Подумывал уже вернуться в город, когда ко мне подошел незнакомый парень.

Остановившись рядом с моей тумбой, он спросил неуверенно, глядя в сторону:

— Вы, товарищ, городской?

— Да. А вы — Федор?

— Нет, я Вася. А вы, товарищ, лучше всего, уезжайте. Ничего у нас не выйдет сегодня. В завод никак не пройти, — полиция там.

— Много?

— Не то, чтобы много... А только ребята связываться не хотят.

— Где ваши ребята?

— Да все тут, кругом наши... Только дух сегодня уж не тот, что был вчера, когда мы в комитет посылали...

Я соображал, что делать. Собрать толпу, начать агитационную речь? Опасно, — как бы не вышло «провокации». Вернуться по добру, по адрову в город? Конфузно.

— Вот что, Вася! — решил я, наконец: — Соберите ка мне человек десять п'надежнее, и идем в завод.

Вася побежал сбивать команду, а я остался на тумбе лущить семечки. Затем пошли к заводу.

Завод был расположен за широкой канавой. К закрытым воротам вел деревянный мост, на нем толпились какие-то люди, с виду, как будто, рабочие. У калитки стояли два сторожа и городовой, — все трое самого миролюбивого вида. Сопротивления с этой стороны можно было не бояться. Но люди на мосту встретили нас криками, угрозами, бранью. Мои спутники не то дали тягу, не то потерялись во враждебной толпе, исчез куда то и Вася. Я остался один перед за-

пертыми воротами. Городовой придвинулся ко мне вплотную и спросил:

— Ты откуда?

— Из Совета Рабочих Депутатов! — ответил я.

— А ну ка, пойдём в участок!

— В участок? А знаешь ты, что такое Совет Рабочих Депутатов?

— Откуда мне знать? Ты это «частному» расскажешь, а мне оно ни к чему...

Дело принимало неприятный оборот. Место для пререканий с городовым было не подходящее. Я сказал:

— Хорошо, идем!

До участка было довольно далеко. Мы шли по улице, где сочувствие прохожих было явно на моей стороне. Стоило мне остановиться, обратиться к толпе, и моему «фараону» пришлось бы плохо.

Городовой, видимо, начал робеть. Задерживая шаг, он спросил меня:

— Что ты «частному» скажешь?

— А то я скажу, что приехал на завод, объявить приказ Совета Рабочих Депутатов, чтобы всем бастовать. А ты меня не пустил, да еще арестовал.

— Да не арестовывал я тебя, — заскулил городовой, — а только сказал, что делов ваших не знаю...

— Ага, теперь не знаешь! — строго перебил я его: — Идем ка в участок.

Прошли еще шагов двадцать, и уже неизвестно было, кто кого ведет к «частному».

Наконец, городовой взмолился:

— Да отпусти ты меня! Что я тебе сделал? Не знал я, что ты от Совета...

— Ну, так и быть, ступай! — милостиво согласился я.

Городовой радостно побежал к своему посту, а я, не менее его довольный развязкой приключения, поспешил в город.

День 17-го октября был критическим в ходе забастовки. В настроении толпы явно наметился перелом. У всех на устах был один вопрос:

— Что дальше?

С начала забастовки в Москве (на Московско-Казанской железной дороге) шел одиннадцатый день. Шестой день бастовал Петербург. А результатов не было видно.

Забастовали, скрестили руки на груди, остановили всю жизнь... А дальше что?

Всюду пытки. Белеют на углах приказы Трепова. Правительство удержало за собой все позиции.

Признать забастовку проигранной и вернуться к станкам? Или сделать еще одну последнюю попытку? Такая попытка возможна лишь в виде схватки с правительственными войсками... Но как двинуться с голыми руками против частогола птыков? А если не решительный бой, то чего ждать от затягивания без конца забастовки? Дилемма — идти вперед или отступать? перейти к вооруженной борьбе или признать поражение? — эта жуткая дилемма вырисовывалась все отчетливее перед каждым, кто зорко следил за ходом событий и пытался разобраться в их смысле. Но в рабочих массах не была сломлена энергия сопротивления.

Совет Рабочих Депутатов сделал попытку собраться. Так как Технологический Институт,

79

место первых собраний Совета, был окружен войсками, попытались устроить заседание в Вольно-Экономическом Обществе¹). Но полиция разогнала собрание. Вечером удалось собраться на Песках, на Рождественских Курсах. Депутатов явилось мало, меньше 100 человек. После обмена мнений вынесли резолюцию:

«Принимая во внимание, 1) что настоящая забастовка имеет не местный, а всероссийский характер; 2) что борьба пролетариата всей России с самодержавием в настоящий момент обострилась до того, что настоящая всеобщая забастовка может нанести решительный удар падающему самодержавию; 3) что во многих городах волна пролетарского движения растет, а прекращение забастовки в Петербурге, в виду важности последнего, может затормозить всероссийское движение, — Петербургский Рабочий Совет постановил продолжать забастовку».

Какой контраст с уверенными, боевыми резолюциями предыдущих дней!

Так командир уговаривает солдат, готовых покинуть позицию: на соседних боевых участках дела идут не так плохо, как у нас; там, быть может, врагу будет навесено поражение; если мы дрогнем, мы погубим все дело, — потершим же еще хоть немного!

На этом собрании Совета я не присутствовал, так как в это самое время происходило заседание нашей ораторской коллегии совместно с представителями Петербургского и Центрального Комитетов²).

¹) Возможно, что это место для заседания выбрали потому, что сюда ближе всего от Технологического Института.

Собрались мы в Консерватории, — единственном учебном заведении, которое до этих пор не подвергалось революционному «использованию», и потому не было, в ночь с 15-го на 16-ое, занято войсками.

Заседание происходило в обширной, светлой комнате. Присутствовало человек 25. Настроение у всех было крайне подавленное. В ожидании представителя Центрального Комитета сидели, перекидываясь редкими фразами, — все усталые, измученные, бледные¹).

Наконец, появился представитель Ц. К., человек средних лет, маленького роста, с острой бородкой, с характерным лицом еврея-интеллигента, в аккуратеньком черном костюме²).

Встретили его угрюмо и холодно. Не смущаясь этим приемом, представитель Ц. К. начал с почти министерской важностью:

— Я здесь, товарищи, чтобы ознакомить вас с последним решением Центрального Комитета, а также, чтобы представить вам разъяснения по всем могущим вас интересовать вопросам, касающимся нашей политики. Спрашивайте, я готов отвечать.

¹) Обычно на заседаниях Совета наша ораторская коллегия — так же, как ораторские коллегии меньшевиков и эсеров — присутствовала в полном составе. Мы все считались постоянными гостями Совета. На заседаниях мы говорили от имени партии, но иногда, при проведении принятых Советом решений, выступали, как ораторы Совета Рабочих Депутатов.

²) Насколько я помню, это был Б. Горев (Гольдман), работавший тогда в партии под псевдонимом Игоря. Но в воспоминаниях Б. Горева об этом периоде, помещенных в № 1 «Историко-революционного бюллетеня» (Москва, январь, 1922), ни словом не упоминается описываемая ниже сцена. Забыл ли о ней Б. Горев, или не он вел вечером 17-го октября переговоры с нашей коллегией?

11 Войтинский.

Один из членов коллегии сказал на это:

— Нас всех волнует один вопрос. В течение месяца мы, согласно вашим директивам, призывали массы к вооруженному восстанию. Теперь время восстания пришло. Массы на улицах и требуют оружия. На какие запасы оружия можем мы рассчитывать?

Представитель Центрального Комитета развел руками:

— Мы сделали все, что могли, но оружия у нас нет!

— Как так?

— Все бывшие у нас револьверы мы уже передали вам.

— Это тридцать штук браунингов, розданные агитаторам?

— Ну, да! Больше у нас нет.

— Вы смеетесь над нами?

— Ничего. Транспорт, которого мы ждали, задержан на границе... Может быть, удастся достать немного гремучей ртути для ударников для бомб... Это все!

— Почему же вы раньше не сказали нам об этом? Как могли вы заставлять нас призывать рабочих к вооруженному восстанию, когда вы прекрасно знали, что оружия у вас нет?

— Мы надеялись...

— Но может быть, удастся получить оружие через солдат?

— Едва ли. В частях, с которыми у нас имеются связи, оружие отобрано.

— В таком случае, попытаемся взять оружие в магазинах!

— Это невозможно: из всех магазинов нарезное оружие вывезено в Петропавловскую крепость. Оставлены лишь охотничьи дробовики. Не нужно обманывать себя: оружия у нас нет и не будет.

Возникло тяжелое молчание. Один из нас выразил мысли всего собрания:

— Вы сыграли роль провокаторов по отношению к нам и заставили нас играть роль провокаторов по отношению к рабочей массе.

Ценист спокойно ответил:

— Товарищи, я понимаю вас. Бывают моменты, когда все мы до последней степени недовольны сами собой, и друг другом, и руководящими центрами. Бывают дни, когда только безнадежный дурак может быть доволен собой. Но не следует впадать в отчаяние. Нужно продолжать работу, в для этого необходимо позаботиться о сохранении партийного аппарата.

Выдержав паузу, он спросил нас:

— Угодно будет вам выслушать постановление Центрального Комитета?

— Ну, говорите!

— Центральный Комитет сознает, что стачка проиграна. Имеются все основания ожидать, что не позже, как завтра, в Петербурге начнутся массовые аресты. По всей вероятности, в первую очередь будут арестованы те лица, которые были особенно на виду за последний период, то есть, товарищи, вынесшие на своих плечах митинговую кампанию. Поэтому, Центральный Комитет решил произвести перегруппировку работников, и, в частности, всех товарищей, выступавших последнее время в Петербурге на митингах, перебросить в провинцию. Вам

11 *

предлагается: поменять паспорта, изменить по возможности наружность и более не показываться на собраниях.

Хор негодующих голосов прервал представителя Центрального Комитета:

— Это подлость! — кричал Абрам.

— По вашей милости мы уже стали провокаторами, — волновался другой член коллегии: — А теперь вы хотите, чтобы мы стали дезертирами.

— Передайте Ц. К. наш ответ, — сказал я: — Ваше предложение мы считаем верхом цинизма. Будь что будет, а мы останемся все на своих постах.

Представитель Комитета, не ожидавший ничего подобного, был крайне смущен.

— Хорошо, хорошо, — твердил он: — Я передам, мы не настаиваем, это был с нашей стороны простой совет...

Была уже ночь, когда мы расходились. Царплатма на площади перед Консерваторией и на улицах. Ни души, ни звука... Жутью смерти веяло в воздухе.

Расставаясь, мы крепко жали руки друг другу. Никто не знал, что ждет его завтра. Было так тяжело сознание собственного беспомощия и поражения. Казалось, кроме личной гибели, нет другого исхода.

... Это было в ночь с 17-го на 18-ое октября, когда самодержавие уже капитулировало перед всеобщей забастовкой, когда уже был подписан манифест!

* * *

Утром 18-го, еще ничего не зная о манифесте, я отправился в Университет, — там, в студенческой столовой, была наша явка.

На улицах непривычное для утреннего часа оживление. Кое-где дома расцвечены флагами. Бегут мальчишки-газетчики. Кучки обывателей жмутся к расклеенным на стенах белым листам. Громыкают извозчики и пролетки.

Чтоб избежать неприятных встреч, я взял извозчика, велел ему поднять верх и дал адрес:

— Университетская линия.

Когда мы проехали квартала два, я спросил моего «Ваньку»:

— Что это народу сегодня так много?

— Малихвест читают. Насчет свободы.

Так я узнал об одержанной нами победе!

Подозвал газетчика, взял у него большой лист с разгонистыми строками манифеста и погрузился в чтение.

Помню первое впечатление: обман, ловушка!

Такое же впечатление было в этот день, при ознакомлении с манифестом, у всех, кто стоял близко к забастовке. Все мы с полной отчетливостью ощущали, что если мы хоть на миг удовлетворимся манифестом, это поведет к разгрому движения, к черносотенной реакции. Наоборот, у тех, кто держался в стороне от движения, было прямо противоположное ощущение: им представлялось, что манифест знаменует великую победу народа и дает новую базу политической жизни России, и что всякая попытка идти дальше начал, возвещенных манифестом, будет иметь роковые последствия.

Это различие в оценке положения нельзя объяснить исключительно тем, что манифест делал уступки буржуазным кругам и ничего не давал рабочим. Ибо, если бы все обещания манифеста претворились в действительность, плодами этой победы воспользовался бы, вместе с другими классами, также и пролетариат. А с другой стороны, в случае неисполнения этих обещаний самодержавием, требования либеральных кругов остались бы неудовлетворенными так же, как и требования рабочих.

Основой расхождения была двойственная: различие было не только в оценке объема полученных уступок, но и в оценке реальности данных царем обещаний. Революционеры этим обещаниям не верили, либеральные круги верили, или делали вид, будто верят.

Было бы слишком легко доказывать теперь, что в этот исторический момент революционеры обнаружили больше проницательности, нежели умеренные общественные элементы, встретившие манифест шумными ликованиями. Но я хотел бы отметить здесь психологический источник этой проницательности: после пережитого накануне, мы непосредственно ощущали слабость революционного движения; мы чувствовали необходимость идти вперед, так как знали, что сил наших недостаточно, чтобы удержать позиции, которые враг покинул под влиянием мимолетной паники...

В университетской столовой я застал летучий студенческий митинг. Пр. Вл. Гессен читал на площадке лестницы манифест и объяснял, что от-

ныне Россия вступает в семью свободных, конституционных государств. Студенты аплодировали. Я взял слово и начал говорить о том, что нельзя верить царскому правительству.

Кто то крикнул:

— На Казанскую площадь!

Высыпали на улицу. Снимали с домов трехцветные флаги, срывали с них белые и синие полотнища. Импровизированные таким образом «красные знамена» развевались над возраставшей с каждым шагом толпой.

Перешли через Дворцовый мост, с криками «долой» прошли мимо золоченой ограды Зимнего Дворца. При выходе на Невский повстречались с другой манифестацией, шедшей с национальными флагами. Трехцветные флаги посторонились, пропустили нас. Даже кричали нам «ура» и махали шапками.

На Казанской площади устроили митинг. Ораторы говорили с паперти, под колоннами, подвываясь на плечи толпы. Первым говорил какой то офицер с георгиевскими крестами. Он махал руками, бил себя в грудь, но слов не было слышно, — точнее, слышно было лишь одно слово «Порт-Артур», — но что именно говорил он о Порт-Артуре, осталось неизвестно. После него говорил я.

Толпа заливала всю площадь вплоть до Невского. По проспекту проезжали конки и извозчичьи пролетки. Шум стоял такой, что я не слышал собственного голоса, хотя кричал изо всех сил.

Во время речи я успел заметить, что состав толпы был случайный, смешанный, что не было в ней единого прочного настроения. Здесь и там

пестрели флаги, — частью красные, частью трехцветные. Казалось, случайно сошлось на одной площади несколько десятков чуждых одна другой групп.

Раза три начиналась паника. В различных концах площади раздавался тревожный крик:

— Казаки!

И часть толпы бросалась бежать. У меня сложилось отчетливое впечатление, что все разы кричали одни и те же люди, расставленные цепями по площади. Но и независимо от их усилий, толпа была склонна к панике: обыватель, хотя и радовался манифесту, хоть и готов был верить царскому слову, все же ожидал, что вслед за возведением свободы должна произойти какая то катастрофа, — или расстрел толпы, или еврейский погром, или что-нибудь другое в этом роде...

С Казанской площади пошли к Университету. По дороге срывали треповский приказ о патронах. На Дворцовой площади показался казачий раз'езд, всего человек пять-шесть. Остановив лошадей, казаки сняли ружья и взяли на изготовку. Не знаю, было ли это озорство, пустая угроза, или они, в самом деле, собирались стрелять. Студент, несший красный флаг, подбежал вплотную к раз'езду и принялся что то объяснять казакам, — вероятно, говорил им, что теперь демонстрации разрешены царем. Казаки опустили ружья и, поворотив лошадей, ускакали в сторону Зимнего Дворца. Вслед им раздались крики «ура».

На набережной качали трех офицеров, из которых один отбивался с яростной энергией, — пови-

димому, онаяваемая честь не доставляла ему ни малейшего удовольствия.

Новый митинг на Университетской линии. Ораторы говорили с балкона Университета. Разбирали манифест, доказывали, что нельзя верить его обещаниям. Один из ораторов, в заключение речи, разорвал манифест и пустил клочки его по ветру.

В это время толпа, в которой преобладали рабочие, уже влилась в здание Университета и наполнила Актный Зал. Там тоже открылся митинг. Вынесли резолюцию со следующими требованиями:

- 1) Полная политическая амнистия,
- 2) Отмена смертной казни,
- 3) Создание народной милиции,
- 4) Отставка Трепова,
- 5) Вывод войск из Петербурга.

День 18-го октября был одним из наиболее сумбурных дней 1905 года.

С утра до позднего вечера — митинги, речи, демонстрации, красные флаги, революционные призывы. Но не создавалось твердости настроения в уличной толпе.

Жизнь, как будто, оправдывала черные ожидания обывателя. Утром конные раз'езды напали на прохожих около Технологического Института. Здесь был ранен в голову пр. Е. Тарле. Днем преображенцы открыли огонь по толпе, мирно двигавшейся по Гороховой улице. Вечером, без всякого повода, войска стреляли по рабочим Путиловского завода.

Самым захватывающим было в этот день тре-

бование амнистии. Много раз раздавался в толпе крик:

— К тюрьмам! Идем освобождать политических!

Многотысячная толпа подошла к помещению Рождественских Курсов, где заседал Совет Рабочих Депутатов, и потребовала, чтобы Совет принял на себя руководство манифестацией, имеющей целью освобождение заключенных.

Руководители Совета были против этой затеи, опасаясь, что дело кончится бесплодным кровопролитием. Но из толпы неслись крики: «К тюрьмам! Освободим товарищей!» Тогда представители Совета (одним из них был Троцкий) встали во главе толпы и повели ее, — но не к тюрьмам, а в кварталы, где можно было манифестировать сравнительно безопасно. Проходя мимо казарм, останавливались, звали солдат выйти на улицу, присоединиться к демонстрации. Только под вечер двинулись к предварилке. Но у участников манифестации не было решимости для последнего приступа, — и, по приглашению руководителей, толпа разошлась, не дойдя до тюрьмы¹⁾.

Позже в революционных кругах Петербурга было много споров по поводу этой неудачной манифестации. Большевики уверяли, что правительство и тюремная администрация готовы были уже 18-го освободить политических и сделали бы это, если бы толпа проявила больше смелости, если бы, например, была сделана попытка валомать тюремные

¹⁾ В решении руководителей распустить манифестацию большую роль сыграло вмешательство Союза Инженеров, сообщившего, будто указ об амнистии уже подписан, и политические заключенные завтра же будут освобождены.

ворота. Наоборот, меньшевики утверждали, что подобная попытка была бы провокацией, что в тюрьмах были спрятаны воинские части, готовые открыть огонь по демонстрантам.

Вечером Совет Рабочих Депутатов обсуждал вопрос о дальнейшей тактике, — продолжать или прекратить забастовку?

Заседание происходило в одной из аудиторий Рождественских Курсов. В длинной, уставленной партами комнате было душно, накурено, лица тонули в тумане. Присутствовало 248 депутатов от 111 фабрик и заводов. Настроение у всех было твердое, боевое, — не было и следов колебаний и сомнений, царивших накануне. И это настроение представителей фабрик и заводов составляло резкий контраст с нервным, паническим настроением городских обывателей. Доклады из мест, из районов, передавали впечатление, произведенное на рабочие массы манифестом: обещания царя рабочие не верят, возмущенным преобразованиям не придают значения, но все до-вольны:

— Перетрусил, видать, Никола!

Общее мнение — надо продолжать забастовку.

После докладов Совет единогласно принял резолюцию, в которой говорилось:

«... Борющийся революционный пролетариат не может сложить оружие до тех пор, пока политические права русского народа не будут установлены на твердых основаниях, пока не будет установлена демократическая республика, наилучший путь для дальнейшей борьбы пролетариата за социализм».

85

Затем излагались ближайшие требования забастовщиков:

Прежде всего, «полное устранение тех сил, с помощью которых самодержавное правительство угнетало и давило народ, именно: всей полиции, сверху до низу; удаление из города войск; создание народной милиции, для чего мы требуем выдачи оружия пролетариату».

Далее, — амнистия, отмена военного положения и созыв Учредительного Собрания.

Это была первая официальная формулировка требований забастовщиков в Петербурге. Будь она выдвинута на неделю раньше, — не в конце, а в начале забастовки, — быть может, эта программа оттолкнула бы те непролетарские элементы, поддержка которых придавала движению общенародный, внеклассовый характер. Но стихийное народное движение никогда не спешит со словесной формулировкой своих целей, — чаще всего, оно предоставляет это дело историкам. И в этом его сила.

Характерна была заключительная фраза резолюции: «забастовка будет продолжаться и впредь до того момента, когда условия укажут на необходимость изменения тактики».

Изменение тактики мыслилось в двух формах: или возобновление работ, или восстание. Возобновление работ, если требования будут удовлетворены; восстание, если самодержавие не пойдет на уступки.

Как тактическое решение, подобная резолюция представляла верх легкомыслия, — и раскрити-

ковать ее с этой точки зрения не трудно. Но Совет не вырабатывал никакой тактики, он лишь отражал настроения выдвинувшей его массы. А это настроение 18-го октября было таково, что лучше всего оно передавалось трубными звуками, победными песнями, — хотя бы далекими от действительности.

Слушая в Совете речи рабочих депутатов, я думал: не тяжелый ли сон то, что мы переживали накануне в Консерватории в третий день в Вольно-Экономическом Обществе и перед Университетом?

* * *

Досидеть до конца на заседании Совета я не мог, нужно было спешить в Университет, где собрался огромный митинг.

В этот день впервые сошлось в Университет много военно-служащих — офицеров, солдат, матросов, военных чиновников. Не знаю, что привлекло их на митинг, — приглашение какой-то беспартийной военной организации, или любопытство, или они шли на народное собрание, волнуемые вопросом об отношении армии к народу в обновленной стране...

Им отвели дальнюю аудиторию, поставили у дверей патруль, не пропускавший на собрание посторонних. На лестнице старосты предупреждали военных о необходимости осторожности и предлагали, в видах конспирации, обертывать погоны бумагой или носовым платком.

Всего военных набралось 300—400 человек. Председательствовал вольноопределяющийся с тонким интеллигентным лицом.

Собрание выразило желание выслушать партийных докладчиков.

От эсаров говорил студент-кавказец — тот самый, что 15-го предлагал забарикадировать Университет, — говорил, как всегда, в страстно-агитационном тоне. Молодой солдатик в пантоне, сидевший за передней партой, перебил его:

— Те, что собрались здесь, знают, чем рискуют, и в агитации не нуждаются. Мы пришли сюда за инструкциями.

Никаких инструкций, никакого плана у нас не было. И когда дошла очередь до меня, я мог лишь предложить собравшимся вести агитацию среди низших чинов, привлекать их к народному делу; чаще сноситься друг с другом, вести учет сознательным элементам и быть наготове.

Лишь при большой пассивности эти общие места можно было принять за ответ на мучительный вопрос — что делать армии? Но собравшиеся были рады и таким советам.

Не помню точно, какую резолюцию вынесло собрание.

Но после митинга ко мне подошло трое военных, — все трое пожилые, полные, в мешковатых сюртуках, с виду более похожие на учителей гимназии, чем на офицеров. Один из них сказал мне:

— Вот что, батенька... Чтоб потом ошибочки не вышло, не нужно себя обманывать... Теперь пойдет: армия с народом, армия с революцией. А как далеко до этого, одному Господу Богу известно. Нас здесь как будто и много, да проку с этого мало. Вам нужны строевые, те, в чьих

руках ружья и пушки. А строевых здесь и пяти человек не было...

— А матросы, солдаты? — наумился я.

— Все больше из писарских команд... Ну, там еще, ротные фельдшера, музыканты... Такие же вояки, как, вот мы: всего то и есть у них военного, что пуговицы светлые. Так то оно, батенька...

Повздыхали еще все трое, покачали головами и пошли к выходу.

* * *

19-го октября возбуждение в Петербурге как то само собой улеглось. Уже не было в городе уличных демонстраций, не было митингов. Никого не смущало, что на углах висят рядышком царский манифест о свободах и треповский приказ о расстрелах. Настроение среди обывателей за ночь изменилось: на смену переплетенному с тревогой ликованием пришло безнадежное уныние. Страх уступил. О рабочих, о Совете Депутатов говорили с почтением (отчаянные; мол, там головы), но уже без энтузиазма — ничего хорошего от Совета не ожидали.

Забастовка продолжалась. Не выходили газеты, стояли железные дороги. Но Петербург уже не был отрезан от остальной России, как накануне манифеста. И из России, со всех концов, неслись в столицу вести о кровавых погромах.

В заводских районах не то не верили этим вестям, не то не придавали им значения. Здесь не было ни уныния, ни тревоги за завтрашний день.

87

Улицы кипели здесь возбужденной толпой. В кучках рабочих читали вслух «Известия Совета Рабочих Депутатов». Совет был на вершине славы, — рабочие видели в нем своего вождя. Его резолюции и статьи его «Известий» принимались, как приказы.

Но объективно забастовка уже пережила себя. Бастовать до республики, как оно вытекало из принятой накануне резолюции Совета, было бы явной бессмыслицей. Такой же бессмыслицей было бы бастовать до отставки Трепова или до вывода войск из Петербурга. Вокруг забастовки уж начало образовываться безвоздушное пространство общественного несочувствия.

Вечером, на Рождественских Курсах, вновь собрался Совет Рабочих Депутатов. Присутствовало 132 депутата, представлявшие 74 фабрики и завода. Много было гостей, представителей революционных партий.

Доклады с мест говорили о том, что «есть еще порох в пороховницах», что рабочие готовы продолжать забастовку. Но из других городов в Исполнительный Комитет Совета поступили известия, что там уже возобновились работы. В частности, приступила к работе Москва. Восстанавливалось железнодорожное движение. Под влиянием этих известий Совет постановил прекратить забастовку, но так, чтобы прекращение ее ни в ком не могло вызвать представления о поражении рабочих или о готовности их удовлетвориться подачкой 17-го октября: 20-го на всех заводах и фабриках состоятся рабочие митинги, посвященные выяснению политического смысла заканчивающейся борьбы; работы возобновятся лишь

21-го, и то не по будничному заводскому гудку, а повсюду сразу, в час, назначенный Советом, — ровно в полдень.

В резолюции, принятой Советом, говорилось:

«Считаясь с необходимостью для рабочего класса, опираясь на достигнутые победы, организовать наилучшим образом и вооружиться для окончательной борьбы за созыв Учредительного Собрания на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права для достижения полного народовластия, Совет Рабочих Депутатов постановляет прекратить 21-го октября, в 12 часов дня, всеобщую политическую забастовку, с тем, чтобы, смотря по ходу событий, по первому же призыву Совета, возобновить ее для дальнейшей борьбы...»

Из дилеммы, рисовавшейся накануне — прекращение забастовки или ее превращение в вооруженное восстание — был найден, таким образом, выход: превращение забастовки для подготовки к восстанию.

Выход чисто словесный, но характерный для мышления октябрьских дней: забастовка представлялась тогда прологом к восстанию и идее восстания подчинялась вся тактика, — и объявление забастовки, и прекращение ее.

С особым вниманием отнеслось собрание к вопросу о прекращении забастовки печатников. Председатель Совета Хрусталева, являвшийся вместе с тем в Совете представителем Союза Рабочих Печатного Дела, предложил возобновить выпуск лишь тех газет, редакторы которых обязуются ввести «революционным путем» свободу печати, то

есть откажутся от представления своих изданий в цензуру.

Эта мысль как нельзя больше соответствовала настроению момента: подчеркивалась роль пролетариата, как гегемона общесоветского движения; создавалась видимость реальных результатов забастовки, идущих дальше пустых обещаний манифеста.

Этим объясняется тот энтузиазм, с которым было встречено предложение Хрусталева. Почти без прений Совет принял единогласно следующую резолюцию:

«Совет Рабочих Депутатов постановляет, что только те газеты могут выходить в свет, редакторы которых игнорируют цензурный комитет, не посылают своих номеров в цензуру, вообще, поступают так, как Совет Рабочих Депутатов при издании своей газеты. Поэтому наборщики и другие товарищи-рабочие печатного дела, участвующие в выпуске газет, приступают к своей работе лишь при заявлении и проведении редакторами свободы печати. До этого момента газетные товарищи-рабочие продолжают бастовать, и Совет Депутатов примет все меры к изысканию средств для выдачи бастующим газетным товарищам-рабочим их заработка.

«Газеты, не подчиняющиеся настоящему постановлению, будут конфискованы у газетчиков и уничтожены. Типографии и машины будут попорчены. а рабочие, не подчинившиеся постановлению Совета Депутатов, будут бойкотированы».

88

Заключительная часть резолюции вызвала в собрании особенно бурные выражения восторга. Но приводить в исполнение выраженную здесь угрозу Совету не пришлось. Как раз в это время союз редакторов повременных изданий вынес постановление об игнорировании цензуры. Этим был предрешен конфликт между рабочими печатного дела и редакциями.

Как наследие историкам русской революции, остался спор о том, приняли ли редакторы свое решение совершенно свободно, или под давлением Совета Рабочих Депутатов.

Социалисты склонны были приписывать рабочим заслугу освобождения прессы от гнета предварительной цензуры. Либеральные круги, наоборот, утверждали, что вмешательство Совета в это дело не имело значения.

Я полагаю, что формально наши противники были правы: не будь советской резолюции, союз редакторов все равно, провел бы в жизнь бойкот цензуры. Но не подлежит ни малейшему сомнению, что самый вопрос о такой форме борьбы за свободу печати поднялся и проведение бойкота цензуры стало возможно исключительно благодаря общественному сдвигу, произведенному всеобщей забастовкой. И в этом смысле рабочему классу принадлежит целиком заслуга за те изменения в условиях существования печати, которые наметились после 17-го октября.

* * *

С 20-го октября начинается в Петербурге полоса заводских рабочих митингов.

Строго говоря, митинги на заводах начались с первого дня забастовки. Но 12-го, 13-го, 14-го это были «летучки» с минутными речами случайных ораторов. 15-го, 16-го рабочие собирались во дворе бастующего завода или на улице у фабричных ворот выслушать доклад своего депутата. Кое-где после докладчика выступал с агитационной речью партийный оратор (привезенный депутатом из города). 17-го и 18-го рабочих неудержимо тянуло в центральные кварталы города, на Невский, к Технологическому Институту, к Университету, — туда, где, по их представлению, должны были произойти решительные события.

19-го на ряде заводов и фабрик происходили рабочие собрания, на которых депутаты давали отчет о состоявшемся накануне заседании Совета и о принятом им решении продолжать забастовку, а партийные агитаторы защищали правильность этого решения, доказывали, что нельзя складывать оружие перед врагом.

20-го в первые митинги происходили одновременно на всех фабриках и заводах, по одной, общей программе. И эта новая форма собраний понравилась рабочим, — с этого дня митинги в стенах высших учебных заведений потеряли притягательную силу. Стоило ли идти за семь верст на митинг, когда можно было те же речи тех же ораторов слышать у себя, на заводском дворе или в мастерской? И еще: на городской митинг редко приходили все рабочие завода, чаще всего «несознательные» элементы оставались дома; а при устройстве митинга у себя можно было рассчитывать, что

соберутся все, без всяких исключений, и передовые, и отсталые.

Изменение формы митингов имело большие политические последствия. С того дня, как фабрично-заводские рабочие стали собираться по своим предприятиям, из городской митинговой толпы исчез наиболее революционный, наиболее устойчивый ее элемент; в то же время с городской трибуны ушли занимавшие ее до сих пор ораторы; появились на ней новые лица, дотоле молчавшие; все громче стали раздаваться в городе умеренно-либеральные речи.

Иными словами, если до октябрьской забастовки форум политической жизни представлял митинг, где численно и идейно господствовали фабрично-заводские рабочие, то теперь образовались как бы две курии — рабочая и нерабочая, — и жизнь их протекала отныне отдельно, обособленно.

Университетские митинги отвечали моменту гегемонии пролетариата в общенародном освободительном движении. Заводские митинги знаменовали начало рокового изолирования рабочего класса.

Начались заводские митинги, как я отметил, 20-го. В этот день на всех фабриках и заводах Петербурга обсуждалось решение Совета о прекращении забастовки. 21-го утром рабочие собрались вновь, — еще раз послушать ораторов, прежде чем приниматься за работу. 22-го была суббота, — заводы опять пригласили к себе ораторов.

Успеху митингов этого дня не мало способствовало то, что на фабриках и заводах появились амнистированные, выпущенные накануне из тюрем:

это было живое доказательство одержанной пролетариатом победы. 23-го, в воскресенье, — повсеместные митинги, по постановлению Совета, в память товарищей-путиловцев, убитых 18-го. Дальше поднялся ряд экономических вопросов: о введении 8-ми часового рабочего дня, о закрытии заводов, о помощи безработным. Вслед за тем пришли тревожные известия из Кронштадта, — нужно было обсудить их. Потом (2-го ноября), началась новая забастовка, во время ее митинги шли ежедневно.

А по окончании ее встал грозный вопрос о лодке, — и опять пошли митинги.

Так заводские митинги в Петербурге происходили без перерыва вплоть до второй половины ноября.

Внешне эти собрания сильно отличались от университетских митингов.

Толпа — более однородная. Сплошь рабочие одного завода. Лишь изредка присутствуют здесь же представители администрации и технического персонала, — отдельной группой корректных, молчаливых гостей.

Больше порядка, больше чинности в ведении собрания, чем это было в городе, в начале октября. На каждом заводе свой постоянный председатель, по большей части, пользующийся полным доверием товарищей.

Какую блестящую фигуру представлял собой Петр, председатель Франко-Русского завода! Как трогательно вел собрания семяниковцев Николай Клемицкий, наивный, добродушный гигант, всей душою преданный рабочему делу! Да и на других заводах были хорошие председатели-рабочие.

В начале собрания устанавливался порядок дня. Велась запись ораторов. Не было шума, пререканий.

На больших заводах торжественности собраний способствовала обстановка: для ораторов были устроены высокие помосты, обтянутые красным бумажем. Появились заводские знамена, порой изготовленные с большой пышностью, из красного бархата, с золотыми надписями, с парчевыми краями, с тяжелыми кистями. Но отпечаток торжественности лежал и на собраниях, происходивших в простых заводских мастерских, — ни знамен, ни помоста, высокий станок вместо трибуны, в воздухе вьются приводные ремни, гудит железо под ногами толпы, кругом машины, похожие на боевые орудия, на гигантские катапульты.

На некоторых фабриках митинги устраивались в фабричной перья, — раза два или три мне пришлось проводить такие собрания: кругом иконы, хоругви, вместо революционных знамен; здесь и там мерцающие огоньки лампад; теснящаяся к амвону толпа женщин, — они слушали ораторов с такой же наивной верой, с какою привыкли слушать обедню. В их представлении митинг был чем-то в роде богослужения, своего рода молебном, — только не за царя, а против царя.

Раз на фабрике Штиглица, после митинга в церкви, работницы обступили меня, благодарили за «доброе слово», при чем одна пожилая женщина, вся в слезах, твердила, что я говорил «лучше отца Николая»¹⁾.

¹⁾ На этом же митинге от другой старухи-работницы я услышал упрек: «Грех великий царя ругать».

91

На заводах толпа была по инерции наивна, — ее наивность сказывалась в том энтузиазме, с которым воспринимались все революционные лозунги, — даже неосуществимые, даже противоречивые.

Выступали на заводских митингах исключительно большевики, меньшевики и эсеры.

У меньшевиков в то время оказались крупные силы¹⁾: они фактически господствовали в Совете и в зарождавшихся профессиональных союзах. Но на заводы они обращали меньше внимания. Лучшим оратором меньшевиков был Троцкий. Его выступления вызывали всегда бурю энтузиазма. Но выступал он довольно редко.

Самой многочисленной агитаторской коллегией, как и в сентябрьский период, обладала большевистская организация. О составе этой коллегии я уже говорил.

Открытой полемики между меньшевиками и большевиками на заводских митингах не было. За то между эсдэками и эсерами велась борьба не на жизнь, а на смерть.

Эсеры двинули на заводские митинги все, что имели. И если количественно их агитационный аппарат уступал нашему, качественно он стоял очень высоко. На заводах выступали: В. М. Чернов, Бунаков, Авксентьев. Все трое имели большой успех, — рабочие встречали их восторженно (правда, не так, как Троцкого).

Выступления эсеровских ораторов велись по определенному плану, — целью их было «отвоевать» у эсдэков крупнейшие заводы и создать, таким об-

¹⁾ Значительные подкрепления меньшевики получили благодаря амнистии и возвращению эмигрантов.

разом, спорные пункты для развития партийной работы в Петербурге. Особенное внимание было обращено на Невский район.

Мы должны были принять бой.

На первый взгляд, все как будто шло гладко: присутствуя на публичных диспутах представителей обеих социалистических партий, рабочие получали возможность разобраться в спорных вопросах социалистической мысли и оформить свое мировоззрение. Но на деле оказывалось не то: диспуты велись так, что слушатели не могли вынести из них ничего поучительного, не могли даже разобраться толком, из-за чего идет спор между «товарищами-ораторами». И отчаявшись понять суть этого спора, рабочий начинал, под конец, относиться к партийной полемике, как к петушиному бою: «А ну, кто кого?»

Чаще всего, спор шел о том, какая нужна рабочим партия? партия всех трудящихся или партия рабочего класса?

Велся этот спор чисто схоластически, то и дело сбиваясь на партийную пикировку и взаимные разоблачения.

Эсеры жаловались рабочим на то, что эсдэки не хотят отдать крестьянам помещичью землю. Следовали цитаты, — чаще всего, «отрезки» Ленина. Эсдэки уличали эсеров в союзе с либералами. Нередко подымался спор о терроре. Однажды, после длинного и горячего спора на эту тему, один рабочий (беспартийный, но в глубине души сочувствовавший эсерам) так формулировал сущность разногласий:

— Эсеры всех министров перебили-б, да эсдэки заступаются, не пускают.

Эсеровский лозунг «Земля и Воля» нравился массам. Мы противопоставляли ему наш лозунг:

«Земля — крестьянам!

«8-часовой рабочий день рабочим!

«Воля — всему народу!»

Это было больше, чем простая «земля и воля», и сравнение между обоими лозунгами было в нашу пользу.

Эсеры главным козырем в борьбе с нами считали свою аграрную программу и охотно развивали ее на митингах. У нас же в то время официальной, принятой съездом аграрной программы не было, была лишь временная аграрная платформа: поддерживать стремления крестьян вплоть до конфискации всех помещичьих земель. При этом, вопрос о дальнейшей судьбе конфискованных земель оставался открытым. Эсеры указывали на этот пробел в нашей программе, как на доказательство того, что эсеры не заботятся о нуждах крестьян.

Однажды, на одном из больших заводов, мне пришлось сцепиться по этому поводу с эсеровским оратором. Мой противник вел атаку в резко демагогическом тоне.

— Что даете вы народу? — восклицал он: — Что даст ваша победа крестьянину, кормильцу Земли Русской?

Я отвечал ему:

— Мы, как и вы, требуем конфискации всей земли. Но вы заранее предписываете крестьянам, что делать с землею, а мы говорим: забирайте землю и делайте с нею, что вам заблагорассудится! Вы даете землю, но

не даете крестьянам воли распоряжаться ею. А мы даем и землю, и волю.

Это было как раз по плечу аудитории. Рабочие расходились с митинга, повторяя:

— Зачем мужикам указывать? Они и сами разберут... Ты им только землю предоставь...

Так в результате спора выяснилась для них сущность разногласий между обеими партиями!

В общем и целом, эсеры добились значительного успеха. В ряде вопросов — напр., в вопросах о терроре, о земле — симпатии беспартийной рабочей массы явно склонялись в их пользу.

Но социал-демократическая партия сохранила все же господствующее положение: масса шла за нею, — отчасти потому, что на нее рабочие уже смотрели, как на свою партию, а отчасти потому, что нравилось название — «Российская, рабочая»...

Впрочем, под конец, рабочим надоели споры между эсерами и эсдеками, и из их среды то и дело раздавались настойчивые призывы к объединению социалистических партий. Тут сказывалось не только чисто стихийное тяготение рабочей массы к единству во что бы то ни стало, но и отсутствие подготовки, необходимой для понимания партийных разногласий и стоящих перед революционным движением тактических проблем.

Для массы этих проблем не существовало. Она жила эстовыми лозунгами, простыми идеями, элементарными чувствами.

* * *

Начало заводских митингов ознаменовалось конфликтом между большевистской организацией и Советом Рабочих Депутатов.

Л. С. - 9.
- 4. 1/2. 1/2.
1916. 362

Я говорил уже, что мысль о создании Совета принадлежала меньшевикам, и что родилась эта мысль из идеи об «органах революционного самоуправления», идеи, к которой большевики относились, как к утопической и вредной для революции затее.

Естественно, что приступая к организации «Рабочего Комитета», меньшевики не спешили посвящать большевиков в свои планы. Возможно даже, что дело было обставлено первоначально некоторой фракционной конспирацией, так как меньшевикам, которые были организационно слабее нас, не было никакого расчета облегчать нам «захват» или «срыв» Совета.

Таким образом, Совет Рабочих Депутатов сорганизовался за спиной большевистского Петербургского Комитета. Родившись из «утопического» плана «Искры», Совет неожиданно, как голова медузы, вырос перед партией и заявил претензию руководить борьбою петербургского пролетариата. Само собою разумеется, что большевики должны были отнестись к этой претензии, как к неслыханной дерзости.

Наша агитаторская коллегия узнала о появлении на свет Божий «Рабочего Комитета» от Красикова.

— Меньшевики новую каверзу затеяли, — сообщил он нам: Беспартийный зубатовский комитет выбирают.

И хотя «товарищ Антон» был далеко не лучшей головой в организации, я думаю, что в тот момент так смотрели на меньшевистскую затею почти все большевики.

Впрочем, 14-го—15-го отношение к Совету среди большевиков переменялось: организация делегировала в Совет своих официальных представителей, агитаторы призывали рабочих выбирать депутатов, под рукой был дан лозунг стараться проводить в состав Совета «своих». Но на крупнейших заводах выборы были уже закончены. В огромном большинстве в депутаты попали беспартийные. — правда, тяготеющие к социал-демократии. В самом совете выдвинулись на первый план меньшевики (Хрусталев, Грипевич, Троцкий). Большевики оказались в положении крайне-левого оппозиционного меньшинства.

Неудачное обращение Совета к Городской Думе и столь же неудачная манифестация 18-го октября дали нам достаточно пищи для критики «половинчатости» Совета. Но последним, переполнившим чашу нашего терпения, доказательством негодности этого учреждения явилось решение, вынесенное Советом по вопросу о похоронах рабочих, убитых за Нарвской заставой 18-го октября.

Сперва Совет предполагал устроить павшим торжественные похороны. В районах были сделаны необходимые приготовления: были готовы траурные знамена, венки, оркестры, рабочие хоры.

Но, накануне назначенного для похорон дня, Трепов опубликовал «объявление» с недвусмысленной угрозой ответить на рабочую демонстрацию черносотенным погромом.

«... В настоящее тревожное время», говорилось в этом объявлении, «когда одна часть населения готова с оружием в руках восстать против действий другой части, никакие

демонстрации на политической почве, в интересах самих же манифестантов, допущены быть не могут... (Полиция) не может допустить нарушения интересов огромного большинства жителей, желающего спокойствия, порядка и свободы движения на улицах. В интересах этого большинства, равно как и в интересах самих манифестантов, с.-петербургский генерал-губернатор приглашает устроителей манифестации отказаться от своего замысла, а мирное население воздержаться от всякого участия в манифестации и от скопления на улицах, в виду могущих произойти весьма тяжких последствий от тех решительных мер, в которых может быть вынуждена прибегнуть полицейская власть».

Угроза была вполне реальна: в эти дни по всей России катилась волна кровавых погромов; повсюду шли зверские убийства, приходили вести о людях, заживо сожженных в Вологде, Томске. Не была исключена возможность того, что Трепов попытается устроить подобный «праздник» и в Петербурге.

Одно лишь было подозрительно в треповском приказе: если у полиции было готовое решение устроить в Петербурге погром, она не стала бы предупреждать население о своих планах и, во всяком случае, не поставила бы выполнение этого плана в зависимость от того, как будут похоронены убитые рабочие. Приходилось, следовательно, предположить, что полиция, сама еще не решив хорошо, быть или не быть в Петербурге погрому, публично заявляет о своих колебаниях. Или же, отбрасывая это предположение, следовало прийти к заключению, что устраивать в Петербурге погром

полиция не намерена, а градоначальник попросту хочет сыграть на ужасе, посеянном среди населения вестями о погромах в провинции. Это заключение подсказывало определенную тактику по отношению к треповскому приказу, — следовало пройти мимо него.

Но на заседание Совета, обсуждавшего этот вопрос, явились либералы — гласные Городской Думы. Они сообщили, будто на верняка знают о готовящемся погроме, заклинали рабочих не поддаваться на провокацию, не подвергать мирное население смертельной опасности, — и развели такую панику, что Совет, в конце концов, сдался на их просьбы: демонстрация была отменена, и вместо нее были назначены на следующее утро заводские митинги.

Чтобы замаскировать немного это отступление, Совет придал своей резолюции ярко революционную форму, заявив: «Петербургский пролетариат даст царскому правительству последнее сражение не в тот день, который изберет Трепов, а тогда, когда это будет выгодно вооруженному и организованному пролетариату». В заключение, резолюция призывала рабочих помнить, что «павшие борцы своей смертью завещали нам удесятерить наши усилия для дела самоотружения и приближения того дня, когда Трепов вместе со всей полицейской шайкой будет сброшен в общую грязную яму обломков монархии».

Но эта словесность не меняла существа дела. В вопросе о похоронах Совет, в ночь с 22-го

на 23-ье октября на питул провал перед полицией.

А в утренних газетах появился новый приказ градоначальника, разрешавший похоронную процессию при условии, что она будет следовать по определенным улицам. Таким образом, оказалось, что отцы города сообщили Совету неверные сведения о намерениях градоначальства и, заразив Совет своей паникой, побудили его отступить перед угрозами Трепова в то время, когда Трепов сам считал необходимым отказаться от этих угроз!

На лицо были исчерпывающие улики того, что Совет Рабочих Депутатов «плетется в хвосте у либералов».

Немедленно большевистским агитаторам была дана директива: проводить на заводских митингах резолюции порицания Совету.

На нескольких заводах такие резолюции были приняты, на других предложение большевиков проваливалось. Рабочие хлопали агитатору-большевику, но когда дело доходило до голосования, заявляли:

— Что же это у нас выйдет? Мы Совет выбрали, а теперь мы же ему порицание вынесем?

И сколько ни развивал агитатор теорию ответственности представителей перед избирателями, рабочая толпа оставалась на своем. Так, я лично потерпел неудачу при попытке провести большевистскую резолюцию на Обуховском заводе, где против меня выступил талантливый молодой рабочий Голубь, игравший крупную роль в Совете.

В связи с этой историей в большевистских кругах был поднят вопрос о том, что недопустимо

оставлять руководство петербургским рабочим движением в руках беспартийного органа, готового в любой момент, под влиянием либералов, сойти с революционного пути. Совет представлял собою стихийную сторону рабочего движения, — нужно было подчинить его такому органу, в котором была бы воплощена революционная сознательность пролетариата. Отсюда мысль — превратить Совет Рабочих Депутатов в партийную организацию, в ячейку Р. С.-Д. Р. П., подчиненную, на началах дисциплины, Петербургскому Комитету. Вопрос этот живо обсуждался в партийных кругах и в печати.

Насколько я помню, в конце концов, большинство в нашей организации склонилось к тому, чтобы действовать постепенно: сперва добиться от Совета принципиального решения, что он подчиняется Р. С.-Д. Р. П., а затем уже поставить вопрос о том, какой именно партийный орган должен давать Совету директивы. Таким образом, первый удар предполагалось направить против не социал-демократических элементов Совета, то есть, против эсеров, а заключительный маневр должен был «вышибить» из Совета меньшевиков.

Проведение этой кампании было возложено на Кяунианца, о котором я уже упоминал выше.

Он очень неохотно принял на себя поручение партии, — и провалился с ним самым основательным образом. 29-го ноября он поднял на заседании Совета вопрос о том, что Совет должен «определить свою политическую физиономию», но на это последовал столь энергичный отпор со стороны собрания,

что Кнуцманц поспешил снять свое предложение¹⁾.

Отмечу, что в нашей агитаторской коллегии, которая в эти дни была чуть ли не центром большевистской организации, вопрос о подчинении Совета партии вызывал большие разногласия. Были у нас сторонники решительных мер, доходившие до предложения — в случае неподчинения Совета директивам Комитета, разогнать его. Помню горячую речь на эту тему Абрама. Но другие опасались, как бы превращение Совета в партийную ячейку не подорвало его влияния в беспартийных рабочих массах. В частности, я лично был решительно против задуманной «кампании».

Забегая немного вперед, отмечу, что после провала этой «кампании», отношения между большевистской организацией и Советом оставались натянутыми.

В начале ноябрьской забастовки дело опять дошло до конфликта. Провозглашая забастовку, Совет решил распространить ее и на газеты, —

¹⁾ Б. Горев в своих воспоминаниях передает, что решение о предъявлении Совету ультиматума («принять партийную программу или превратиться в простое профессиональное объединение» было принято в расширенном Федеративном Совете, где участвовали и большевики и меньшевики. Об этом эпизоде я ничего не знаю. Во всяком случае, у нас, в агитаторской коллегии, поход против Совета обсуждался, как поход против меньшевиков. А в самом Совете 29 ноября меньшевики выступили против предложения Кнуцманца, и при том выступили с крайней резкостью, как против попытки ввернуть Совет Рабочих Депутатов.

Выступление в Совете в защиту большевистского «ультиматума» Троцкий (в своем письме, заменяющем предисловие к книге Сверчкова «На заре революции») приписывает Красикову (тов. Антону). У меня сохранилось отчетливое впечатление, что выступая по этому вопросу именно Кнуцманц.

сделав, само собою разумеется, исключение для своих «Известий», которые печатались нелегально то в одной, то в другой типографии. Большевики внесли предложение, чтобы такое же исключение было сделано и для их органа «Новой Жизни». Представители союза печатников восстали против этого предложения, и оно было отклонено собранием.

Тогда большевики перенесли вопрос на заводские митинги и здесь стали предлагать резолюцию с выражением сожаления по поводу того, что во время забастовки не выходит газета, служащая развитию революционной сознательности и сплоченности пролетариата.

Помнится, успеха эта резолюция не имела. Между прочим, против нее выступали и социалы-революционеры, подчеркивавшие, что они, мол, не требуют привилегий для своего органа¹⁾. — раз бастовать, так уж всем, без всяких исключений.

Против такой постановки вопроса трудно было спорить. Мы, агитаторы, быстро в этом убедились. В нашей коллегии был даже поднят вопрос о необходимости принять меры, чтобы Петербургский Комитет впредь не давал нам «идиотских» директив. Но события сменялись так стремительно, что вскоре мы забыли об этой маленькой неудаче.

* * *

С переходом митингов в окраинные заводские районы, пролетарские элементы собственно городского (не окраинного) населения оказались выброшенными из русла революционно-политической

¹⁾ «Сына Отечества»

жизни. Фабрично-заводские рабочие были объединены своим Советом и в этом объединении черпали силу. Рабочие мелкой промышленности, ремесленники, приказчики оставались вне рамок этого объединения, — примкнуть к нему они могли, лишь организовавшись по профессиям.

В этом одна из причин того, что тяга к профессиональному объединению, уже давно начавшаяся в Петербурге, после октябрьской забастовки усиливается, принимает почти лихорадочный характер, — и именно среди пролетарских групп, не представленных в Совете.

Начинается напряженная работа по строительству профессиональных союзов. В этой работе наша организация почти не принимала участия, — все ее силы уходили в заводские районы. Но у меня лично установилась тесная связь с нарождавшимся в то время союзом торгово-промышленных служащих, — эту связь я сохранил и позже, вплоть до моего вынужденного отъезда из Петербурга в конце 1907 года.

Сблизился я с приказчиками случайно.

Как то раз мне передали приглашение на митинг в Василеостровском театре. Там оказалось собрание приказчиков, посвященное вопросу о праздничном отдыхе и об организации союза. Собрание было многолюдное, оживленное, дружное.

В начале его один приказчик — интеллигентного вида, хорошо одетый и уже не молодой — обратился к собравшимся с предложением почтить вставанием память ... декабристов. Предложение было принято, все встал благоговейно, постояли молча с минуту и сели вновь. Тогда оратор пред-

ложил почтить память Желябова и Перовской. Вновь встали и вновь сели. Оратор внес новое предложение: почтить вставанием память Каляева. Затем последовало предложение почтить павших 9-го января и, в заключение, — убитых 18-го октября. Выполнив этот обряд, оратор, ни слова не прибавив, покинул трибуну.

Вслед за ним выступил человек типично гостиниодворского типа и начал говорить о жизни приказчиков. Говорил он с подлинным вдохновением, с глубоким чувством, с заражающей страстностью. Это был И. И. Козловский, приказчик-самоучка, впоследствии редактор-издатель приказничьего профессионального журнала и наш выборщик в Государственную Думу.

И еще выделилось в собрании несколько человек, в которых чувствовалась и общественная жилка, и вдумчивость, и даже некоторая подготовка к тому делу, за которое они брались. А дело было огромное: торгово-промышленных служащих в Петербурге насчитывалось до 200 тысяч, — почти столько же, сколько фабрично-заводских рабочих, — и объединение их в профессиональный союз представлялось очень трудной задачей. Но у инициаторов собрания был готовый план: в основу всего они клали кампанию за праздничный отдых, — лозунг, который мог всколыхнуть и объединить всю приказничью массу и который, к тому же, можно было сравнительно легко провести в жизнь. Одновременно должна была идти организационная работа: прежде всего, предполагалось объединить приказчиков больших рынков, и эти сплоченные

38

группы должны были явиться центрами притяжения для приказчиков ближайших улиц.

Руководители приказничьего движения, с которыми я познакомился на митинге в Василеостровском театре, просили меня помочь им в разработке проекта устава союза, в составлении воззваний, в устройстве агитационных собраний. Сперва я отбоиривался, так как и без того работал сверх сил. Но в большевистской организации решили через меня закрепить влияние партии на приказный союз. Представители Комитета настойчиво убеждали меня не оставлять приказчиков, поддерживать связь с ними, мне пришлось подчиниться.

Так, не покидая своей агитаторской работы на заводах, втиснулся я в организационно-союзовскую работу среди торгово-промышленных служащих. Пришлось сталкиваться при этом и с другими профессиональными группами: с булочниками, портными, золото-серебренниками. Повсюду наблюдалось страстное, нетерпеливое стремление к объединению. Повсюду объединение рассматривалось не просто, как средство добиться повышения платы, сокращения рабочих часов или каких-либо иных материальных выгод, но как путь к свету, к знанию, к человеческому возрождению. Культурническая тенденция преобладала не только над экономической, но и над революционно-политической тенденцией.

Деятели молодого профессионального движения немного побаивались «политики». Во всяком случае, они не хотели, чтобы их работа стала предметом «использования» для революционных партий. Но социалистическую пропаганду, политическое вос-

питание массы путем лекций, брошюр, газет и т. д. даже умереннейшие профессионалисты считали одной из основных задач союзного объединения.

Стремление к объединению захватило в конце октября и такие профессиональные группы, которые до сих пор стояли весьма далеко от рабочего движения. В этом мне пришлось убедиться при обстоятельствах, о которых я расскажу здесь несколько подробнее.

* * *

Однажды меня вызвали на лестницу с заседания Совета Рабочих Депутатов. Товарищ из Петербургского Комитета с особо значительным видом спросил меня:

— Можете завтра, в 5 час. дня, выступить на митинге?

— Могу.

— Имейте в виду, дело ответственное и рискованное. Не забудьте, на всякий случай, взять с собою револьвер.

— А что это за митинг?

— Мы, собственно, не знаем хорошенько. Может быть, просто провокация... Подробности узнаете на предварительной явке.

— Да кто устраивает митинг?

— Околоточные.

— Кто? — переспросил я, думая, что ослышался.

— Чины полиции, околоточные надзиратели, пристава. У них что то там начинается. Просили

99

прислать агитаторов. Это очень важно. Комитет решил послать вас и Николая. Согласны ехать? — Давайте явку¹⁾.

Явочный адрес оказался у чорта на куличках: Электрическая Станция на Обводном канале, спросить главного инженера.

В 4 ч. мы с Коноваловым были там. Нас провели в кабинет инженера. Сказали ему пароль. Инженер, притворив плотнее дверь и усадив нас в кресла, сказал:

— Я передал в Комитет приглашение, но я сам не знаю, в чем дело. Во всяком случае, я поеду с вами.

И вытащив из ящика стола маузер, он решительным движением засунул его за пояс брюк.

— Откуда у вас сведения о митинге? спросил я.

— У нас есть один служащий Трофимов, — так это от него.

— А что это за человек?

— Как вам сказать? Я его всегда считал черносотенцем. На икону собираться или царский молебен устраивать — всегда он первый. И с полицией свой человек. Впрочем, представьте, за последнее время полевал, — таким стал демократом...

¹⁾ Я был не слишком удивлен митингом чинов полиции. так как в 1905 г. было уже несколько выступлений этого рода: так, в январе, в период всеобщих забастовок, выступили с экономическими требованиями и с угрозой забастовки члены рижской полиции; в июне газеты сообщали о воззваниях, выпущенных «созвательными городскими» Баку и Москвы; в октябре ходили слухи о вспыхнувшей (или подготовлявшейся) забастовке чинов полиции в Польше. В петербургском случае новым и оригинальным было лишь то, что члены полиции, устраивая митинг, обратились за ораторами в партийную организацию.

— Может быть, из шпиков произведен в провокаторы?

— Может быть! Вот, сами увидите.

И, позвонив, он приказал сторожу:

— Пришлите сюда Трофимова.

В кабинет вкатился человек средних лет, круглый, мягкий, с румяным, улыбающимся лицом, с светлыми усами и бородой, — тип сахара-медовича.

— Из Комитета, сказал ему инженер, указывая на нас: От большевистской организации.

— Очень, очень рад, затянул нараспев Трофимов: а уж как гг. околоточные будут рады, и сказать невозможно. Теперь наше дело пойдет...

— Какое дело? спросил я

— Союз профессиональный! Союз околоточных надзирателей и полицейских чиновников! Давняя-с мечта лучших людей столичной полиции. Сегодня-с, господа, исторический день, — кладем первый камень фундамента.

— Где назначено собрание?

— Я провожу-с вас.

— Много будет народу?

— Человек пятьдесят.

— Только то? Ну, едем!

Но в это время инженеру доложили, что его спрашивают, и в кабинет вошли два человека. Мы узнали в них знакомых агитаторов-меньшевиков: один из них был тов. МIRON (Хинчук), имени другого я не помню.

МIRON заявил нам:

— Мы от Петербургской Группы. Дело не фракционное, — давайте сговоримся об общем выступлении.

Я заметил:

— Не много ли будет ехать вшестером? Собрание то маленькое!

— Хорошо, согласился Мирон, поделимся. Поедем вдвоем, — один от вас, другой от нас.

Но Коновалов восстал против такого решения вопроса.

— Дело, говорил он, трудное. Мы с тов. Сергеем Петровым вместе поедем.

Тогда Мирон сказал:

— Ладно, вы первые получили явку, — связь, собственно говоря, ваша... Поезжайте! Но обещайте, что не будете вести фракционной политики и не будете стараться захватить союз в свои руки! Получив торжественное обещание, меньшевики удалились, а мы четверо — инженер, Трофимов, Николай и я — двинулись в путь.

Трофимов кликнул извозчика и дал ему адрес:

— Анничкин мост!

У моста он отпустил извозчика и повел нас по Невскому, по направлению к Адмиралтейству. На своих коротеньких ножках он так быстро-катился вперед, что мы едва поспевали за ним. Вдруг он юркнул куда то вниз, в подвал. Я за ним! Смотрю, винный погреб. Трофимов бросил взгляд вокруг, заглянул в соседнюю комнату, и — к стойке:

— Полиция где?

— В Караванную гостиницу перешли-с, отвечал сиделец: Здесь им что-то не приглянулось.

Вышли на Невский, прошли несколько шагов, свернули на боковую улицу и вошли, вслед за Трофимовым, в под'езд гостиницы.

— Где полиция?

— Уже все в сборе, отвечал малый в белом фартуке: Вас ожидают, велели провести.

Вел он нас по бесконечным корридорам, по каким то лестницам, то вверх, то вниз.

— Конспирация! шепнул я Николаю.

Тот кивнул головой:

— Да, народ основательный.

Наконец, остановились перед запертой дверью.

— Сюда пожалуйста.

Малый деликатно, по-особенному, постучал в дверь. Мы вошли. Обыкновенный гостиничный номер. Огромная двуспальная кровать с пологом. Два окна на улицу. Зеркала и олеографии на стенах. Почти все пространство от кровати до окон занято длинным столом. Крутом него люди в полицейских мундирах, все при пашках. Лица серьезные, напряженные.

Трофимов петушком подлетел к сидевшим поближе, у двери.

— Вот и мы... Гг. вольные не отказались помочь нашему делу... От Петербургского-с Комитета, от большевиков...

В ответ ледяное:

— Присаживайтесь, господа.

Мы сбросили на кровать верхнее платье и заняли указанные нам места. — я и Николай друг против друга в глубине стола, у окна, инженер и Трофимов на противоположном конце, у кровати.

Молчание. Наконец, один околоточный, маленький, щупленький, с бритой бородой и длинными рыжими усами, обратился к нам:

— Гг. вольные! Извините-с за беспокойство, но наше положение особое, — позволю вам доложить,